

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Евгений Носов
**КРАСНОЕ
ВИНО
ПОБЕДЫ**



Школьная библиотека (Детская литература)

Евгений Носов

Красное вино Победы (сборник)

Издательство «Детская литература»

УДК 821.161.1-93-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Носов Е. И.

Красное вино Победы (сборник) / Е. И. Носов — Издательство
«Детская литература», — (Школьная библиотека (Детская
литература))

ISBN 5-08-004106-4

В сборник известного мастера прозы включены рассказы о деревне, о работе на земле, о природе, а также произведения, в которых звучит тема войны, тема народной памяти, ее социально-нравственной значимости в наши дни.

УДК 821.161.1-93-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 5-08-004106-4

© Носов Е. И.
© Издательство «Детская литература»

Содержание

Малая родина	7
В чистом поле за проселком	9
В чистом поле за проселком	9
Варька	19
Шуба	35
Шуруп	45
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Евгений Иванович Носов

Избранное. Рассказы

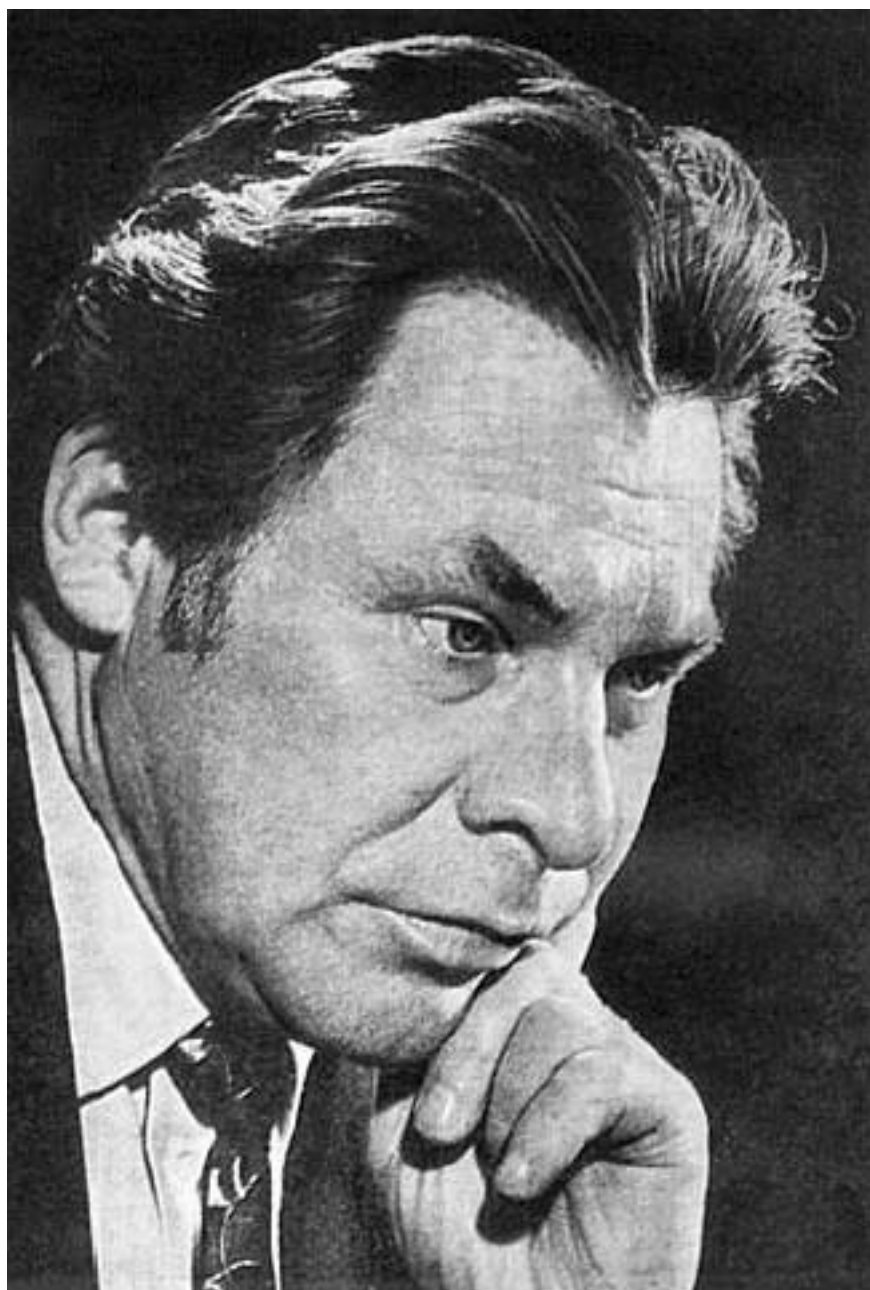
© Издательство «Детская литература». Оформление серии, состав, 2004

© Е. И. Носов. Текст. Наследники

© Д. Г. Шеваров. Послесловие, 2004

© Л. Г. Башков, Ю. П. Далецкая. Иллюстрации, 2004

* * *



Носов

1925—2002

Малая родина **(Вместо авторского вступления)**

Вот пишут: малая родина... Но что это такое? Где ее границы? Откуда и докуда она простирается? Как исчислить, измерить, обсказать?

По-моему, малая родина – это окоем нашего детства. Увиденная, услышанная и восчувствованная первореальность. Та округа под чашей лазурного неба, которую способно объять мальчишеское око и вместить в себя чистая распахнутая душа, где эта душа впервые удивилась, обрадовалась и возликовала от охватившего счастья быть на земле. И где впервые огорчилась, обронила первую слезу, разгневалась и пережила первое потрясение.

...Тихая деревенская улица, отчий дом в ее ряду под неохватной ивой. Тесный магазинчик на выгоне, маняще пропахший мятными пряниками, ременной сбруей и бочковой селедкой, неприхотливая семилетняя школа под светлой сенью берез, куда еще только предстояло ходить первоклашкой, обветшалаая церковь с погостом, где в зачашенной сирени едва видны дерновые надгробья прежних жителей, уже отбывших свое...

А за околицей – машинный двор, куда всегда тянет пробраться, тайком посидеть в кабине трактора, потрогать рычаги, блаженно повдыхать еще теплый запах наработавшегося мотора.

А дальше – сбегающий по склону артельный сад, еще дышащий сушью знойного дня, разогретой вишневой смолкой, которую можно жевать, и уже налившимися яблоками, мерцающими багряным лоском в обвядшей куще листвы.

Ну, а внизу, за садом, – луговая вольница, травяной ветерок, медвяная цветь подмаренника, тугой перегуд шмелей и маревный, дремотный звон овсянок. И, наконец, речушка – петлявая, увертливая, не терпящая открытых мест и нороящая улизнуть в лозняки и калину. А если не жалеть штанов и рубахи, то можно продраться к старой мельнице, где сквозь дощатые мостки и дверные проемы бойко бьет малиновый кипрей. Здесь тоже не принято говорить громко: и теперь еще в омуте обретается водяной Никиша. Сказывают, будто по темным ночам можно услышать, как в глубине мельничного остова сопит и тужится он, нороя столкнуть в омут уже никому не нужный жернов...

За реку забредать как-то не повелось: на высоком убережье – другая деревня, иной, запредельный мир. Его обживают свои вихрастые окоемщики, на глаза которых поодиночке лучше не попадаться...

Разумеется, у каждого человека – своя малая родина, и ее приметы тоже разные.

Но такого невеликого окоемного обиталища вдосталь хватает всем, чтобы за Божий день набегаться и навпечатлаться до предела сил, когда за вечерней кружкой молока начнет безвольно клониться опаленная солнцем и вытрепанная ветром неумная головушка, и мать подхватит исцарапанное, исклеванное паутами, пахнущее рогозом и тиной обмякшее чадо и понесет к постели, как с поля боя уносит павшего сестра милосердия.

И видится жарко разметававшемуся чаду, будто взбирается он на вековую ветлу, что укрывает собой и дом, и половину двора, и часть взгорка под окнами и осыпает по осени чуть ли не весь околоток позолоченным листом. Напряженно побелевшими пальцами мальчонка впивается в грубо испещренное корье старого дерева, сыро, тленно дышащего разверстым дуплом, ощупывает каждый подходящий выступ, каждый отмерший сучок, чтобы, упиваясь сладостным чувством одоления, подняться выше тех отметин, где он уже побывал в прежние свои восхождения. Но чем дальше влезает он, зелена и мочалая на себе майку, тем все меньше попадает подходящих зацеп, тем глаже и неприступней становится главный стволовый кругляш, несущий на себе основной разброс вершинных веток, за которыми сквозь зыбкий полог шепотливой листвы маняще млеет синь летнего неба. Закусив губы, он упрямо подтягивается на

немеющих руках до очередного ответвления, забрасывает туда ногу и, переводя дух, торжественно поглядывает вниз, на покинутую им повседневность подворья, на вышедшую из сеней мать с тазиком постирушек...

И вот с замиранием сердца он обхватывает самую последнюю ветвь, дерзко устремленную ввысь и осыпанную пригоршней узких трепетных листьев, похожих на речных рыбешек. Вольные верховые листья неугомонно полощутся в солнечной синеве, взблескивая то темно-зеленой лаковостью, то белесой матовостью изнанки. Раскачиваясь из стороны в сторону от собственного веса, он с ликующей жутью оглядывается окрест, чтобы наконец-то увидеть: а что же там дальше, за окоемом, где он еще не бывал?

И как это случается в мальчишеских сновидениях, опорный боковой вырост вдруг издает изморозный треск и прослабленно уползает из-под ноги.

С запавшим дыханием и невыплеснувшимся воплем, ломая и руша встречную неразбериху ветвей и сучьев, мальчонка немо низвергается в зеленую пучину. Самое страшное в таких снах вовсе не превращение сердца в ледышку, не мерзкое чувство своего бессилия что-либо сделать, а роковая цепенящая невозможность позвать маму. Вон же она, под деревом, ничего не ведая, развешивает на нижних ветвях его же штанишки и рубашонки. Услыхав зов, она, конечно, протянула бы навстречу свои руки. Но он, пораженный немотой, не в силах даже разомкнуть рта...

Пронизав толщу кроющего купола, мальчонка промелькивает белой майкой в межъярусной пустоте, и в это ничтожное мгновение он невольно по какому-то неосознанному велению успевает разбросать руки, подобно выпростанным крыльям. Небесный ветер упруго и бережно подхватывает этот крестик, возникший из тельца и распято раскинутых ладоней, и мальчонка начинает ощущать, как он наполняется небывалой легкостью, и впервые вдыхает полной грудью.

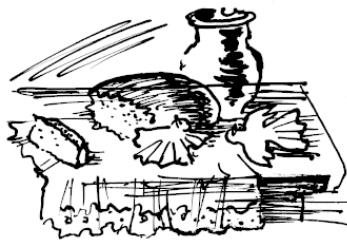
И вот он уже парит, парит, оставив в стороне ветлу, свершает захватывающие развороты над полуденной деревенькой, над россыпью сенных стогов, охваченных фольговой перевязью речушки, над голубинкой мельничного омута, на дне которого затаился водяной Никиша, — над всем тем, что изведано и неведано дотоле.

Близкие облака слепят белизной, овевают влажной прохладой, вкусно пахнут первозданным снежком. Нарастающая высота хмелит и полнит ликующей радостью бытия.

— Мама, это я! Я лечу-у, мама!..

Малая родина — это то, что на всю жизнь одаривает нас крыльями вдохновения...

В чистом поле за проселком



В чистом поле за проселком



1

Кузница стояла у обочины полевого проселка, стороной обегавшего Малые Серпилки. С дороги за хлебами видны были только верхушки серпилковских садов, сами же хаты прятались за сплошной стеной вишняков и яблонь. По безветренным утратам над садами поднимались ленивые печные дымы, сытно, запашисто отдававшие кизяком и хмызой. Летом оттуда на гречишную цвет, огибая дымную кузницу, со знойным гудом летели пчелы. Осенью же, когда после первых несмелых утреников недели на две устанавливалось задумчиво-кроткое бабье лето с глубоким небом и русоволосыми скирдами молодой соломы, из серпилковских садов далеко в поле проникал горьковато-винный запах яблочной прели, и на все лады неумело и ломко кричали кочетки-сеголетки.

Из всех строений со стороны проселка видна была одна только семилетняя школа. Несколько лет назад ее построили взамен старой, изначальной и сильно обветшавшей углами. Поставили ее на задах деревни, на ровном муравистом выгоне, и теперь она чисто белела на темной зелени садов, а при восходе солнца полыхала широкими и яркими окнами.

Кузница же была выстроена у проселка еще в стародавние времена каким-то разбитным серпилковским мужиком, надумавшим, как паучок, поохотиться за всяким проезжим людом. Сказывают, будто, сколотив деньгу на придорожном ковальном дельце, мужик тот впоследствии поставил рядом с кузницей еще и заезжий двор с самоварным и винным обогревом. И еще сказывают, будто брал он за постой не только живую денежку, но не брезговал ни овсом, ни нательным крестом.

В революцию серпилковцы самолично сожгли этот заезжий двор начисто. Распаясь, подожгли заодно и кузницу. Однако вскорости смекнули, что кузницу палили зря. Тем же вре-

менем расчистили пожарище, прикатали новый ракитовый пень под наковальню, сшили мехи, покрыли кирпичную коробку тесом, и с той поры кузница бессменно и справно служила сначала серпилковской коммуне, а потом уже и колхозу.

Правда, был случай, имеющий самое непосредственное отношение к этому повествованию, когда кузница в Малых Серпилках вдруг умолкла. Нежданно-негаданно помер кузнец Захар Панков. А надо сказать, что Захар Панков был не просто кузнец, а такой тонкий мастер, что к нему ездили со всякими хитроумными заказами даже из соседних районов. Бывало, лопнет в горячей работе какая деталь в тракторе – механики туда-сюда: нет ни в районе, ни в области такой детали. Всякие прочие запчасти предлагают, а такой точно нету. Они к Панкову: так, мол, и так, Захар, сам понимаешь, надо бы сделать... Повертит молча Захар пострадавшую деталь (виду он был сурового, волосы подвязывал тесьмой по лбу, борода смоляная на полфартука, точь-в-точь как старинный оружейник, но в современной технике толк вот как знал!), даже иной раз зачем-то в увеличительное стеклышко поглядит на излом. Ни слова, ни полслова не скажет, а только бережно завернет деталь в тряпочку и опустит в карман. Тут уж и без слов понятно: раз взял, стало быть, выручит. Да и не только поглядеть на Захарову работу, а даже издали послушать было любо. Как начнут с молотобойцем Ванюшкой отбивать – что соборная звонница: колоколят молотки на всевозможные голоса. И баском и залиvistым подголоском. Праздник, да и только в Серпилках! Особенно по весне, перед посевной: небо синее, чистое, с крыш капает, теплынь, а они вызванивают на весь белый свет... Сколько помнят Захара, все годы провисел его портрет на колхозной доске Почета. И когда помер, не сняли. Навсегда оставили.

Похоронили Захара честь по чести. В Серпилковской школе даже занятия были отменены. Три его медали (он на войне служил в саперах) школьники несли на красных подушечках...

Той же осенью призвали на воинскую службу Ванюшку. Совсем осиротела кузница, стоит в чистом поле с угрюмо распахнутыми воротами. Серпилковцы, привыкшие к веселому перезвону молотков за садами, чувствовали себя так, будто в их хатах остановились ходики. Сразу стало как-то глухо и неуютно в Серпилках: очень уж не хватало им этого перестука на выгоне. Да и из хозяйственного обихода выпала кузница: ни отковать чего, ни подладить. Сильно жалели серпилковцы, что в свое время не приставили к Захару какого-нибудь смышленного мальчика, чтобы усвоил и перенял тонкое Захарово искусство. И вдруг с пустых осенних полей через сквозные облетевшие сады до Серпилок явственно долетело: Дон-дон-дилинь... дон-дон-дилинь...

2

Зазвонило, затюкало глухим темным вечером, в канун Октябрьских праздников, когда серпилковцы еще не укладывались спать. В каждой, почитай, хате бабы запускали тесто на пироги, ошипывали кочетов или разбирали пороссячи ножки на завтрашний холодец. Так что многие услышали этот неожиданный перезвон в поле и, высыпав во дворы, слушали, не зная, что и подумать.

Но прежде других странный стук молотка в ночи за деревней услышал Доня Синявкин, сухонький, беспорядочно волосатый дедок, у которого бороденка росла не сплошняком, а пучками. Даже на узком утином носу, на самом его заострении, упорно и неистребимо пробиwлся сивый жесткий кустарничек. За эту пучковатую поросль Доню Синявкина окрестили «квадратно-гнездовым», или попросту Квадратом. Будучи одиноким человеком (впоследствии к нему приедет из города племянница Верка), в хате которого от самой смерти старухи некому было печь пирогов и студить холодцы, дед Квадрат в тот день с самого утра начал обходить Серпилки и поздравлять односельчан с наступающим праздником. Делал он это на старинный

манер христославия: открывал дверь, стаскивал у порога шапку и, кашлянув для верности голоса, тотчас начинал забубенной скороговоркой:

– С праздничком вас, люди добрые, мир и согласие вашему дому, быть пирогу едому, яичку крутому, салцу – смальцу, чарочке в пальцы...

Пропевши такие слова, Квадрат поясню кланялся в красный угол и присаживался на лавку.

Правда, серпилковцам было не до Квадрата: белили хаты, выколачивали перины, возились со стряпней. Однако в двух, не то в трех домах дедок все же зацепился, всласть набеседовался о том о сем и к вечеру был в самом благовеселом расположении души. Тут бы ему и отправиться спать, но, проходя мимо хаты председателя колхоза Дениса Ивановича, не смог преодолеть искушения на минутку заскочить к нему, потому как очень уж уважал Дениса Ивановича.

«Кого тогда и поздравлять с праздничком, ежели не Дениса Ивановича!» – почтительно сказал сам себе Квадрат и толкнул калитку.

В хате было жарко топлено, празднично пахло едой, на столе ворохом высилась горка кучерявой, только что обжаренной капусты для пирога. Жена Дениса Ивановича, сдобная, крутобедрая Дарья Ильинична, возилась у дежи, сам же Денис Иванович, в чистой исподней рубашке, с очками на носу, сидел тут же, подле капусты, и, пощипывая серебряный ус, читал районную газету, а точнее сказать, разглядывал сводку. Когда Квадрат зашел и затянул было свое «быть пирогу едому, яичку крутому», Денис Иванович в самый раз ударил по газете пальцами на манер того, как если бы стряхивал с нее комашку, и сказал, усмехнувшись, но, однако же, и в сердцах:

– Вот ведь сукины дети! Ну и ловкачи!

– Ты кого так? – спросил дед Квадрат, в знак приветствия потрогав хозяйку выше локтя, поскольку кисти рук у нее были заляпаны горчично-желтым тестом.

– Да росошинский «Верный путь», – отложил газеты Денис Иванович. – По сводке у них вся зябь поднята, а я давеча проезжал – до сего дня заовражье не тронута. А вот поди ж ты, на второе место по району выскочили! Ну и ловкач этот Посвистов!

– Сказывают, Тимирязевскую академию кончал, – вставил Квадрат. – И еще штой-то...

– Тимирязевская тут не виновата.

– Дак и я ж говорю, – поспешно согласился Квадрат. – К ученой голове еще должно быть порядочный доклад от себя лично. Не та шинель, что пуговицами блестит, а та, что греет. Вот хоть тебя, Денис Иванович, взять. Образования у тебя почти что никакого. На живом деле да на людях сам себя образовывал. А хозяйством правишь куда с добром.

– Гм... – кашлянул Денис Иванович и загородился газетой.

– Все сыты и справны, и Серпилки наши, слава те Господи, не прорежены бегами да вербовками, – продолжал гомонить Квадрат, подсаживаясь к жареной капусте. – Я вот нынче проходил: любо-дорого поглядеть, какая у нас деревня. Хаты белые, окошки протертые, плетни не проломлены скотиною на манер Росошек.

– Ну и долдон ты, я погляжу, – сказал Денис Иванович. – У кого, может, хаты и побелены, а твоя опять рябая, как леопарда. Соседку попросил бы обмазать, что ли... Людей бы посовестился.

– Образу, ей-бо, образу, – заморгал бесцветными веками Квадрат. – Я ведь к чему? Вот ты меня поругал, а мне приятно. От хорошего человека и замечание приятно послушать. Потому как ты настоящий хозяин нашей жизни. И не столько образованием, сколь сердцем, что к чему, угадываешь.

– Ну ладно, будя... – поморщился Денис Иванович. – Не люблю... закуси лучше.

– Закушу, закушу, – кивнул Квадрат, поглядывая, как Дарья Ильинична, убрав со стола капусту, взаменставляла из шкафчика тарелки со снедью и графинчик с Морозовым узором

и рябиновыми ягодами на дне. – Опять же и колхоз наш получше ихнего называется: «Нива»! А то «Верный путь»... Это в Россошках-то верный путь? Прошлой зимой тринадцать теленков издохло... С названиями, я тебе скажу, надо поаккуратней. Чтоб смущения потом не получалось...

– Закуси, закуси... Что впустую языком молоть...

Всего только две рюмочки рябиновки и выпил дед Квадрат, однако уже начал было и задремывать за разговором. Денис Иванович, сунув босые ноги в сапоги и накинув ватник, сказал:

– Осовел ты, Квадрат, пойдем доведу...

И вот, когда они проходили мостком у старой школы, с которого, если бы не Денис Иванович, дедок не преминул бы оступиться впотьмах, в это время и долетел до Серпилок странный перезвон.

– С-слышь? – наострился дедок и поднял в темноте палец.

Постояли, послушали: из-за темных, окостенелых, осенних садов, из глухой полевой темени еще отчетливей, чем прежде, донеслось: Дон-дон-дилинь-дон... Дон-дон-дилинь-дилинь...

– Ей-бо, в кузне это... – определил Квадрат.

– Какого лешего... – возразил Денис Иванович.

– Секи мне голову – в кузне!

– Кому это приспичило ночью да еще под праздник?

– А вот и гадай...

– Чепуху мелешь, дед.

– Нет, ты послухай. Вон энти два глухих удара – это он по заготовке молотком тюкает, по раскаленному... по мягкому... потому и глухо... Ты послухай... А энтот, со звоном, то уж он по наковальне...

– Кто это он? – спросил Денис Иванович.

– А вот, должно, он и есть...

– Да кто он, черт ты дери! – озлился Денис Иванович.

– Кто, кто... Може, сам Захар тюкает... – понижая голос до шепота, знобко выдохнул дедок.

– Тьфу! – сплюнул Денис Иванович.

– Его подчерк. Слышь, легкость-то руки какая. Не работает, а благовест вызванивает...

– Спятил ты, что ли?

– Помер-то он прямо за работою... Разрыв сердца вышел. Говорят, осколок от войны близко к сердцу сидел... Прибежали – он лежит замертво, а сошник от культиватора еще на земле дымится. Вот как довелось помереть человеку!

– Человеком был – человеком и помер, – сказал Денис Иванович.

– Вот я и говорю: восстал Захар с погоста за незаконченным делом.

– Однако ты хватил сегодня, – сказал с досадливой укоризной Денис Иванович. – Зря я тебе подливал рябиновки.

– Ты меня хмелем не попрекай... Кузня без него совсем осиротелая осталась... Никакого ни стука, ни грюка не слышать... Никто его дела не подхватил... Вот он, может, и поднялся... Забота человека одолела...

– Ну это ты... того... – буркнул Денис Иванович, однако стук молотка в темном осеннем поле – ни луны, ни просяного зернышка в небе – показался ему странным и даже стал раздражать своей реальностью, на которую не приходило никакого объяснения. – Гм, – сказал Денис Иванович так, как сказал бы в его положении норовистый бык, увидевший на дороге красную тряпку. Как человек, не терпящий никаких загадок, он добавил со всей решительностью: – А вот мы сейчас поглядим!

Денис Иванович сошел с мостика и направился в темный проулок, что резал Серпилки поперек и выводил в поле.

Квадрат, однако, замешкался на мостике.

– Денис Иванович, – позвал он, – а может, не надо мешать? Пусть себе тюкает...

– А вот мы разберемся! – упрямо твердил в темноте проулка Денис Иванович.

– Погодь, можа, народ шумнуть?

– Нечего тут. Тебе лишь бы шуметь. Идем, говорю!

Дедку, возбудившему себя всякими предположениями, очень уж захотелось в теплую хату, но, поборов в себе такое желание, он все-таки спустился с мостка и сторожко последовал за Денисом Ивановичем, для верности окликаая:

– Идешь, Денис Иванович?

– Да иду. Где ты там?

– Як тому, что... Идешь ли?

3

Выйдя за сады и чувствуя, что теряет последнюю связь с Серпилками, уютно пахнувшими в темноте теплыми, настоящими хлевами, дедок остановился, пяля глаза в черную пустоту, в то место, где должна была стоять кузница. Но строение совсем не проглядывалось, будто его вовсе и не было. Зато с еще большей явственностью, обдавшей дедка колючим холодом, доносилось это таинственное «дон-дон-дилинь»... Он даже уловил носом запах того самого дыма со сладковатой тухлинкой, который при живом Захаре Панкове полевой ветер доносил до Серпилков. И уже рисовалось ему, как в закопченном нутре брошенной кузни молчаливо и сосредоточенно стучит молотком Захар и на его лбу, перехваченном тесемкой, красным взблеском играет отсвет горнила... Но впереди упрямо крошили зяблевые комья сапоги Дениса Ивановича, и дед Доня, окликнув еще раз председателя, побежал за ним мелкой трусцой.

Между тем стук молотка в кузнице прекратился. Теперь они шли к чему-то, безмолвно затаившемуся в ночи.

– Денис... – негромко позвал Квадрат.

– Чего?

– Бегишь-то больно швыдко... Погодь...

Денис Иванович приостановился.

– Угораздил ты меня, ей-богу.

Денис Иванович не отвечал.

– Настырный ты... ужась! Тюкает, ну и пусть себе тюкает...

Сошлись вместе, постояли.

– Затихло что-то... – сказал дедок.

Поле затаилось в глухой осенней неподвижности. Не было даже видно огней деревни, спрятавшейся за садами. Только крепко, свежо пахло нахолодавшей соломой да еще сладким кузнечным дымом.

– Денис... Гля-ка...

– Вижу.

Впереди проступил проем кузнечных ворот, слабо, призрачно подсвеченный изнутри.

– Пошли, – твердо сказал Денис Иванович.

– Ты, Денис, как хочешь, а я тут постою...

Денис Иванович фыркнул и пошел один. Было слышно, как сердито и упрямо топали его сапоги. Через некоторое время черная коренастая фигура Дениса Ивановича замаячила в освещенных воротах и исчезла в глубине кузницы.

Прошли долгие минуты тишины и безвестности. Дед Квадрат, онемев и напрягшись, готовый задать стрекача, ожидал, что вот-вот в кузнице что-то загремит, рухнет, Денис Иванович выскочит опрометью, а вслед ему полетят лемехи и раскаленное железо. Но время шло, ничего не обваливалось, а Денис Иванович исчез, будто вошел в преисподнюю. Мелко покрестив кадык щепотью, дедок прокрался к воротам и, прячась за створкой, заглянул вовнутрь.

На столбе, подпиравшем кровельную матицу, висела керосиновая коптилка – пузырек с кружалкой сырой картошки, сквозь который был продернут ватный фитиль. Красновато-дымный шнур огня и копоти ронял тусклый и ломкий свет в закопченную темноту кузницы. В горне среди шлака малиновым пятном догорал, остывая, уголь... Денис Иванович стоял у наковальни и, оттопырив губы в тусклом серебре усов, задумчиво вертел в руках какую-то железяку, и по тому, как он ее перекидывал из ладони в ладонь, будто печеную картошку, было видно, что железяка эта еще не совсем остыла.

– Денис Иваныч... – окликнул из-за створки ворот дедок.

– Ну?

– Никого... нетути?

Денис Иванович не ответил, продолжал вертеть в руках поковку...

– А ведь уголья в горне горят... Стало быть, кто-то...

Тут рот Квадрата онемел и остался раскрытым, будто в него вставили распорку. В углу, за тесовым сундуком, в который старый кузнец Захар складывал свой инструмент, дедок узрел чьи-то ноги, обутые в стоптанные кирзовые сапоги. Даже пупырышки разглядел на подошвах.

– У-у... у-у... – произнес дедок и вытянул трясущийся палец в сторону ящика. – У-у...

Денис Иванович, сощурился, склонив голову набок, долго глядел на торчащие головки сапог, потом подошел к сундуку, запустил за него короткопалую руку и вытащил на свет за балахонистый ватник насмерть перепуганного и по-кутячи обмякшего мальчонку.

– Ты кто такой? – спросил он.

– М-Митька я... – захныкал малец и заслонил свою треугольную, с остреньким подбородком и широким лбом рожицу длинным, обвислым ватным рукавом.

– Какой такой Митька?

– Это Агашкин сорванец! – тотчас взъерепененным воробьем залетел в кузницу Квадрат. – Агашки проулочной, у которой грушу молоньей расшибло... Ах ты, чирый подштаннык! Это ты тюкал? Я т-те...

Дедок проворно ухватил оттопыренное Митькино ухо и стал его накручивать, как если бы это была ручка сельсоветского телефона.

– Я т-те покажу, разбудяй сыромятный, как народ смущать! Люди Октябрьскую революцию собрались отмечать, а он, стервец, тюкает... Я т-те потюкаю...

– Это не я-а-а! – заголосил мальчонка. – Я только мехи качал... Это все Аполошка...

– Я и Аполошке уши накручу!

– погоди ты, – отпихнул дедка Денис Иванович. – Сразу и уши откручивать. Аполошка, где ты тут?

– Вылазь немедленно! – выкрикнул Квадрат.

– Ну я... – глухо долетело откуда-то сверху.

С поперечины под самой крышей свесились похожие на утюги солдатские ботинки, из которых торчали портянки, а потом уже заголившиеся мальчишеские ноги. Обметая многолетнюю сажу, с дегтярно-черной матицы спустился неуклюже-длинный, вислопечий Аполошка, старший Митькин брат. Конфузливо подшмыгивая носом, Аполошка устался себе под ноги. Большой вислый нос его был покрыт угольной копотью.

Денис Иванович с любопытством и даже как будто с удивлением оглядел ребятишек.

– Чистые сапустаты! – подсказал дед Квадрат.

– Погоди, не лотоши, – поморщился Денис Иванович и спросил Аполошку, повертев перед его закопченным носом найденной на наковальне железякой. – Ты ковал?

– Я... – отворачиваясь, сознался Аполошка.

– Это что ж такое будет?

Аполошка промолчал.

– Это дышляк, – сказал за него малец.

– Что за дышляк?

– Это что колеса вертит, – быстро заговорил Митька, заблестев непросохшими глазами. – Мы тут паровоз делали. И все обратно положим, как было...

Митька с поспешностью подскочил к груде железного хлама и вытащил оттуда самоварно блеснувшую артиллерийскую гильзу крупного калибра.

– Это вот котел самый... Куда воду наливают... Мы вот тут дырку заклепаем, и котел будет... А тут колеса... Пар сначала пойдет здесь, потом здесь и здесь...

Денис Иванович еще раз оглядел «котел» и поставил на наковальню.

– Ты вот что, Аполошка... Паровоз – это ладно... Ты мне скажи: болт отковать сможешь?

Аполошка перемялся ботинками.

– Ну что ж молчишь? Экий ты козюлистый!

– С нарезкой? – глядя куда-то в сторону, спросил Аполошка.

– Как положено.

– Если с нарезкой, то плашки надо.

Говорил он медленно, тягуче, словно брел по вязкой топи и с превеликим трудом выволакивал слова-ноги.

– А ты откуда это знаешь, что плашками?

Аполошка поддернул носом, и даже что-то презрительное промелькнуло в его сумрачном чумазом лице.

– А как же?

– Гм... – пожевал губами Денис Иванович. – Ладно, делай пока без нарезки.

– Простого болвана?

– Давай простого.

– Сейчас прямо? – недоверчиво спросил Аполошка.

– Сейчас и валяй.

– Дак какой надо? На три четверти, на пять восьмых или какой?

– Валяй на три четверти.

Аполошка потянул из вороха железа длинный прут и кивнул Митьке:

– Ну-ка, качни.

Митька с радостной готовностью подскочил к мехам, схватил за ремешок, перехлестнутый за деревянную вагу над головой, и повис на ремешке обезьянкой, задрав кверху сапоги. Оттянув рычаг, он снова ступил на землю и ослабил ремень.

4

Внутри горна, над шлаком, что-то загудело, зашипело, малиновое пятно остывающих углей живо брызнуло искрами и засинело огоньками. Аполошка пошурудил огонь и сунул прут в угли.

Красный летучий отсвет озарил Аполошкин подбородок, мослатые скулы, бугристый лоб, все, что было упрямого в этом нескладном подростке, оставив в тени лишь его раздумчиво-синие, широко распахнутые глаза. И от этого озарения, а может, и от чего иного, невидимого, загоревшегося в самом Аполошке, он враз как-то повзрослел, сурово построжал, будто

заказанное ему дело прибавило целый десяток лет. Оно и всегда так: серьезная работа старого мастера молодит, юнца – мужает.



Придвинулись к огню и дедок с Денисом Ивановичем, стоят смотрят, как Аполошка клещами поправляет, нагартывает на огонь уголь. И глядели они на Аполошкины руки, на длинные в сивой окалине клещи, на гневно ревущий огонь так, будто отродясь ничего диковиннее и не зрели. То ли ночь тут смешала все понятия, то ли сам Аполошка удивлял, ведь огурец зеленый, опупок – а поди ж ты! Но скорее всего, оттого замороженно стояли старики, что никогда не привыкнет человек смотреть с мертвым сердцем на то, как калится, краснеет металл в жарком нутре горнила, на самое изначальное ремесло свое, прошагавшее с ним всю людскую историю, начиная от бронзы, и породившее все прочие хитроумные обращения с металлом.

– А ну, примай паровоз! – крикнул Аполошка так, будто это не был Агафьин Аполошка, в огороде которой молнией разбило грушу, а сам огненный бог, свершавший свое таинство в ночи.

Дедок вздрогнул и, подчиняясь спешности дела, мигом подлетел к наковальне и смахнул паровоз. Аполошка выхватил из горна бело-желтый, почти прозрачный прут, истекающий светом и жаром, припадая на хромую ногу, шагнул к наковальне, очертив в темноте ослепительную полудугу. Черная Аполошкина тень изломанно пронеслась по стенам и потолку кузницы.

– Зубило! – крикнул Аполошка, и белки его сверкнули в темных провалах глазниц.

Митька бросил мехи, подхватил зубило на длинном держаке, приставил его к пруту, спросил Аполошку только взглядом: «Здесь?» – и Аполошка, кивнув, одним взмахом молота отсек конец прута. Тут же подхватил отрубленный кусок клещами, поставил его на попа, часто, торопко затюкал по концу молотком, осаживая прут и поворачивая клещи то вправо, то влево. И при каждом повороте пускал удар вхолостую, по наковальне, вызванивая ту самую паузу, то веселое кузнечное «дилинь», непременно для всякого порядочного мастера, во время которого он успевает мгновенно оценить сработанное, прицелиться и поправить поковку. Живой, податливый металл, рассыпая колкие звезды, послушно, стеариново осел и утолщился и, остывая, помалиновел.

Сунув опять заготовку в горн, Аполошка кивнул своему подручному, тот, бросив зубило, метнулся к ваге. И пока тяжко сопели где-то над головой мехи и гудел огонь, выплевывая из горна раскаленную угольную крошку, Аполошка снова был молчаливосуров и строг лицом, как хирург.

– Шестигранник или четыре угла? – обернулся он погодя к Денису Ивановичу.

– Давай на шесть.

Аполошка выхватил болванку, сноровисто огранил, поправил в обжимке и швырнул в корыто с водой.

Денис Иванович выхватил еще парившую поковку и внимательно оглядел, можно сказать, даже обнюхал ее со всех сторон.

– Да, болт... – сказал он.

– Нарезать? – спросил Аполошка.

– Не надо. Верю. – И, повернувшись, протянул болт дедку.

Квадрат принял штуковину обеими руками, долго держал ее в пальцах за концы, поворачивал и все качал головой.

– Поди ж ты...

– Дядя Захар за один нагрев болт делал, – сказал Аполошка, глядя куда-то в угол. – А я два раза грел...

– Ишь ты... какой, – покосился на него Денис Иванович. – А колесо ошинуешь?

– Ошину.

– И концы сваришь?

– Дядя Захар показывал... А так – не знаю...

– Показывал, говоришь?.. Гм... Ну, а сошник?

– Культиваторный?

– Он самый.

– Можно и сошник. Только сталь хорошая требуется. Рессорная.

– Ты мне пока так, одну форму.

– Один не оттянешь. С молотобойцем надо.

– А ну, давай попробуем, – сказал Денис Иванович и, захваченный азартом живой и горячей кузнечной работы, ее древней и дивной затягивающей силой, добавил молодцевато:

– Поищи-ка Ванюшкин молот. А ты, дед, покачай нам, а то малец умаялся.

Дедок ухватился за вагу, а спустя минуту, разойдясь, расстегнув шубейку и, по-мальчишески заблестев глазами, говорил под тяжкие, воловьи вздохи мехов:

– Вот, Денис, штука-то какая... Гляжу я, нету на русской земле, которая хлеб родит... нету ничего приветнее для души... окромя, когда деревенская кузня гомонит молотками... Вот и ракеты теперь пошли и все прочее... А все ж таки кузня – всему голова... Как хочешь...

– Ты давай качай, качай, старый! – буркнул Денис Иванович.

– Да уж стараюсь... Раздуваю... А я было думал: опосля Захария кончилась у нас династия... ан перенялась... Поросло семя...

5

Долго еще в предпраздничной ночи долетал до Серпилок спор молотков. Стучали они то сердито и торопко, то со звонкой веселостью. Вспокоенные серпилковцы никак не могли взять в толк, что происходит там, в чистом поле, какая такая открылась непонятная всеношная перед самым Октябрем. Прибежавший на деревню Митька запальчиво рассказывал:

– Ой, что делается! Сам Денис Иванович кует... Ватник снял, в одной исподней рубаше... Перемазлся – ужас... Денис Иванович кует, а Квадрат качаить... Денис Ивано-

вич Аполошке: «А это сделаешь?» – «Сделаю». – «А это?» – «Сделаю»... Аполошка не сдаётся ни в какую. Все экзамены повидержал. Сколь всего понаковали – ужась!

– Да ты-то куда опять? – спрашивали Митьку. – Мать вся избегалась.

– А! – махнул спущенным рукавом малец. – Скажите ей: мол, некогда... Послали за водой. И за куревом.

Варька



Вот уже битый час Варька, мокрая и встрепанная, в куцем, выгоревшем за лето сарафане, гонялась по озеру за утками. Она упиралась широко расставленными ногами в борта полузатопленной плоскодонки, весло цепко увязало в иле, путалось в пухлых травяных пластах. От каждого толчка лодка заваливалась набок, и в ее отсеках хлюпала и взбрызгивалась парная, цвелея вода. Комары столбом толклись над головой, и Варька, отмахиваясь, яростно шлепала себя то по остро выпиравшим лопаткам, темным и худым плечам, то по мокрым и красным, исцарапанным камышами икрам.

– И штоб я в другой раз заместо кого осталась! – кричала она злым, грубым голосом. – И пропади они все пропадом, те утки! Нашли дуру!

Птица нахально лезла в самое непролазное лопушье, набивалась в камыши, рассчитывая пересидеть там Варькино буйство и все-таки остаться ночевать на озере. Варька шуровала веслом в камышах, колотила плашмя по воде, взбивая розовые при закатном солнце брызги. Утки, тоже розовые, мельтешили в ее глазах вместе с ослепительными бликами взбаламученной воды. Устав махать веслом, Варька оглядела озеро, рукой заслоняясь от багрового солнца.

– И когда же вас, самураев, заберут от меня на птицекомбинат, навязались вы на мою головушку...

Сторож Емельян что-то кричал, командовал Варьке, но она в утином гомоне ничего не разбирала и только, оборачиваясь, видела, как Емельян, черный на светлом предвечернем небе, прыгал на своей деревяшке по крутому голому берегу, размахивая кисетом.

– А иди ты... – досадовала на него Варька. – Размахался!

Птичник стоял в лугах, верстах в семи от деревни, на берегу глубокой старицы с донными ключами. Построили его года четыре назад, когда пошла по колхозам мода на водоплавающую птицу. Председатель Парашечкин, круглый, коренастый мужичок в кепке с пуговкой, верхом на своем белом горбоносом жеребце, как Наполеон перед сражением, самолично выбирал позицию. Он долго петлял по лугам, среди неразберихи стариц, заросших ивняком и всякой дурной болотной всячиной, и под конец остановился на этом одиноком бугре. Будучи человеком осторожным и прижимистым, он не стал сразу разоряться на капитальное строительство, а поначалу распорядился сладить птичник на скорую руку – для пробы. «Так – дак так, а не так – дак и ладно», – приговаривал он, размечая бугор саженькой – откуда и докуда ладить постройку. Плотники сплели из лозы опояску в полметра высотой, сверху сомкнули жердяные стропильца и все это закидали соломой. С тех пор и стоит посреди лугов этот приземистый, безглавый балаган. Мода, однако, прижилась, утка оказалась доходной птицей, теперь можно было бы

взамен шалаша поставить что-нибудь поосновательнее, тем более что колхоз при средствах, но Парашечкин что-то не спешил.

– Срамота-то какая! – донимали Парашечкина птичницы, когда тот появлялся на озере. – Против соседей совестно. В миллионерах ведь ходим.

Парашечкин, сощурился, издали оглядывал птичник и вдруг, побагровев, начинал ругаться:

– Ну-к што, што в миллионерах! С красоты воды не пить. Птичник как птичник. Не капает. Утка тебе што? Утка тебе не курица. Ей хоромы не нужны. А если я сюда двести тыщ кирпича убухаю, посчитайте, во что кило птицы обернется, дуры!

– Да ведь мы-то не утки. Нам и переночевать негде. В деревню каждый раз не набегаешься.

– Вон берите тракторную будку, хватит с вас.

По весне на птичник завозили с инкубатора две-три тысячи зеленовато-желтых пискунчиков, выпускали их на старицу, все лето полоскались они на полной природе, казенные харчи, правда, тоже были подходящие, подкармливали зерновыми отходами, мучной мешанкой, так что к концу августа, к тому моменту, когда надо закруглять дело, от уток на озере некуда было бросить камень. К этой поре все чаще навещался Парашечкин, хватал первую попавшуюся утку, прикидывал ее на руке, разгребал пух и тихо так, заискивающе говорил:

– Вы уж, девки, давайте пошуруйте эту недельку. Чтоб все по высшей категории пошло. А я, так и быть, помимо грамот... – он прищуривал один глаз и совсем так, как только что оглядывал уток, оценивающе поглядывал на птичниц, – так и быть, я вам по набору духов преподнесу. По «Кармену». От себя лично.

Наконец объявляли сдачу, несколько дней на птичнике стоял гам, уток распихивали по клетушкам, грузили на машины и отправляли на птицекомбинат.

Остальное время балаган пустовал. Зимой по нему, занесенному сугробами, упиваясь утиным духом, шастали лисы. Весной же он одиноко торчал на бугре, со всех сторон облитый полый водой.

Варьку на птичнике называли приبلудной. Она объявилась там сама по себе и не числилась ни в каких штатных расписаниях. Позапрошлой весной шла она из школы домой, увидела возле правления грузовик, из которого доносился жалобный многоголосый писк, залезла на заднее колесо, заглянула в кузов. В решетчатых ящиках копошились черноглазые, похожие на пуховички вербы утят.

«Ой, да какие же они!» – загорелась Варька счастливой нежностью, закинула портфель в кузов и прикатила на птичник. Сначала бегала туда после уроков, а когда распустили на каникулы, осталась там на все лето.

Приходила мать, ругалась с птичницами за то, что они сманивают девку, отбивают ее от двора, и Варька пряталась от матери в камышах. Из-за этого птичницы сперва косились на Варьку, гнали ее домой, но потом привыкли и даже не мыслили дела без Варькиной помощи.

Варька разжигала кормозапарник, замешивала отруби, гонялась за утками, когда те, узнав про соседнюю бахчу, улепетывали туда клевать помидоры, бегала с поручениями птичниц в контору, палила из дробовика по коршунам, с Емельяном ставила в лопушистых заводях верши. Сарафанишко висел на ней застиранной и вконец выгоревшей тряпицей, сама же она заветривала и обгорала до сизой шелухи, а руки и ноги истончались до такой степени, что от выпиравших суставов походили на узловатые жерди.

К концу лета утки надоедали ей до крайности. Из нежных беспомощных пискунчиков они превращались в прожорливых, нахальных и бестолковых тварей. Они изматывали Варьку до того, что у нее начинал портиться характер, Варька становилась злой, как осенняя муха, и клялась широким остервенелым крестом, что больше ноги ее не будет на этом распроклятом птичнике. А на следующую весну Варька опять прибежала к озеру, с какой-то болезненной

жадностью набрасывалась на недельных утят, прижималась к ним щекой, хватала ртом черные мягкие клювики и визжала, дрожа голосом:

– Ой, девчата, не могу! Какие же они хорошенькие!

И все начиналось сначала. Вот уже третье лето.

После обеда на птичник должны были привезти подкормку. Возил корм обычно Генка на «газике». Но вместо него неожиданно прикатил на пароконке с тремя мешками комбикорма Сашка-цыган.

Года три назад в позднюю осеннюю распутицу Сашка прибил к деревне вместе со своей матерью. Варька впервые увидела его в тот день возле правления. Пока мать обговаривала свою просьбу в кабинете Парашечкина, Сашка, тогда еще щуплый, узкоплечий мальчонка с заостренным, перепуганным лицом, сидел на затоптанном осенней грязью крыльце правления и сторожил узелок с пожитками. На нем была какая-то замызганная, не по росту кацавейка с подвернутыми рукавами, из которых зябко торчали черные сухие пальцы с белесыми ногтями. Больше всего Варьке запомнилась Сашкина обувь – глубокие резиновые старушечьи боты, дырявые и переломленные в носках, отчего казались странно и неприятно пустыми. Варька, пока шла мимо, поминутно оглядывалась, дивясь не столько самому цыганенку, сколь его неприкаянному и равнодушно-покорному виду, и ей хотелось, чтобы Парашечкин принял их в колхоз.

Зимовали они на свиноферме, в общественной хате, служившей красным уголком и обогревалкой. Весной для них запахали кусок выгона на краю деревни, и до той поры, когда появится вольный материал на хату, плотники помогали сладить маленькую времянку в одно оконце. С первыми теплыми днями соседка бабка выгребла из своего погреба мешок картошки, набрала в подол узелков и кулечков со всякими семенами и повела Сашкину мать Марию на свежераспаханный выгон обучать земле. Мария, высокая, сухая цыганка, застенчиво улыбаясь своей неумелости, неловко и терпеливо что-то сажала и сеяла, поглядывая на проворные и корявые бабкины пальцы. Любопытные бабы нарочно бегали с ведрами к выездному колодцу, чтобы ненароком подсмотреть, как обживаются чужепришельцы. Иные, не скрывая своей стародавней крестьянской непримиримости к бродяжьей жизни, посмеивались, кивали.

– Сеять да пахать – не на карты брехать!

Однако постепенно все это изгладилось. Мария помаленьку обвыкла, привыкли и к ней. Она оказалась неназойливой женщиной, без нарочной цыганской нахаляжки, на свинарнике работала с молчаливым терпением – одним словом, баба как баба. К тому ж и горе носила в себе самое обычное, бабье: бросил ее муж. Рассказывала, что цыган не смирился перед новым законом, не сдал коня государству, а в необдуманной горячности и глухой тоске по прежней кочевой жизни тайно забил его в лесу, мясо продал, а сам подался искать волю в Молдавию, а может, и дальше куда, к сербам. Звал и ее с собой. Но одному, может, где и воля, а куда ж ей с мальчонкой...

Труднее приживался на деревне Сашка. Ребятишки то липли к нему, забавляясь его чужой необычностью, странным говором и привычками, то вдруг, не поделив какой пустяк, дружно и наглухо чурались, лепили всякие обидные прозвища и по малолетству бездумно попрекали всем цыганским: Сашкиной кучерявостью, глазастостью. «Сыган, сыган, коску смыгал!» – выкрикивал из-за плетня какой-нибудь сопливый бесштаный пацан, просто так, от нечего делать. Свистушки девчонки, без семи лет невесты, тоже сочиняли про Сашу всякую обидную небывальщину, вроде того, что, мол, у него цыганские ненадежные глаза, многозначительно ахали и, пугая друг дружку Сашкиной неверностью, уговаривали «ни за что на свете» не водить с ним компанию.

Сашка держался хотя и невраждебно, но настороженно и замкнуто, больше вертелся возле взрослых мужиков и все дни пропадал на конюшне. На улице видели его редко, в дневную школу он не ходил, стеснялся своего роста, в вечерке же по причине его неграмотности

не нашлось начальных классов. Ради него одного учреждать изначальное обучение в вечерней школе никто не стал, хотя завуч и уговорил Сашку по вечерам брать уроки у него на дому.

Свалив мешки, Сашка закурил сигарету, присел у заднего колеса на корточки.

– Девчата, шестимесячный приехал! – крикнула птичница Нинка Арбузова, и вслед за ней все остальные высыпали из вагончика.

Сашка бывал на птичнике редко, и на него сбегались глядеть, как на диковину. Сашкину голову покрывала буйная копна нестриженных волос, опутывавших шею сине-смоляными кольцами. Девчата завидовали этому даром доставшемуся нечесаному счастью и между собой называли Сашку шестимесячным.

– Саш, продай бигуди, – притворно серьезным тоном сказала Ленка Пряхина, присев перед цыганенком на корточки.

Птичницы томились знойной скукой августовского дня и обрадовались случаю побалагурить.

– Какие бигуди? – не понял Сашка.

Девчата прыснули. Сашка, смигивая черными ресницами, выжидающе поглядывал то на одну, то на другую.

– Он их на конюшню отнес, – вставила Нинка, подписывавшая на грядке телеги Сашкину накладную. – Кобылам на ночь хвосты накручивает.

Девчата снова дружно захохотали. Сашка отвернулся, пустил длинную струйку дыма на свои босые серопыльные ноги.

– Саш, а правду говорят, что ты девкам зелье подсыпаешь? – не унималась Ленка. – Девки выпьют и сразу дурочками становятся.

– Ты и без зелья дурочка! – огрызнулся Сашка.

Варька, сочувствовавшая Сашке еще с того самого дня, как увидела его на крыльце правления с узелком под мышкой, не принимала участия в балагурстве, топталась в сторонке, испытывая стыдливую неловкость от обидных и задиристых шуток птичниц. Девчата заметили Варькино смущение, тотчас истолковали его на свой лад и бессовестно набросились на нее.

– Ты чего за спины прячешься?

– Девки, да она краснеть научилась...

– Хорош парень, а?

– Одни глаза чего стоят!

– Берегись, Варька, они глазливые!

Поймав на себе черно-сливовый Сашкин взгляд, Варька совсем смешалась, еще больше пыхнула от жаркого и сладкого испуга и гнева и, чувствуя, как глаза наливаются слезами, нагнула голову и убежала за будку.

– Отдай накладную, – нахмурился Сашка.

– погоди! Куда ты спешишь! Побудь с нами.

– Сашечка, сплясал бы, что ли!

– Ага, Саш! Чего тебе стоит! А мы Парашечкина попросим, чтоб он тебе трудовень за это начислил. Как за художественную самодеятельность.

Сашка угрюмо зыркал из-под спутанных завитков, потом подскочил, хотел было выхватить накладную, но Нинка, увернувшись и подняв бумажку над головой, захохотала:

– Сперва спляши...

– Дай, говорю! Я на работе, поняла?

– Поняла... Твоя работа никуда не убежит. Вон как хвосты обвисли.

Сашка затравленно озирался. Не найдя слов, болезненно скривясь, он вдруг выхватил из повозки длинный кнут.

Девчата взвизгнули и рассыпались. Перевалившись через решетчатую дробину и огрев кнутом сонно выстаивавших жару лошадей, Сашка покати́л прочь в сухом грохоте растрепанной телеги.

– Ой! – спохватилась Ленка Пряхина, когда Сашка был уже за озером. – А что же мы про кино не спросили? Сегодня же четверг. В клубе кино должно быть.

...Варька весь остаток дня носила в себе обиду на девчат за давешнее и уже было настроилась вечером сходить в клуб, но к ней неожиданно подошла Ленка, обняла пухлой рукой за плечи и потащи́ла в сторону от балагана.

– Пойдем, чегой-то скажу.

– Чего еще? Небось подежурить?

– Ага, Варь, золотце, побудь за меня!

– Больно нужно! – Варька сердито дернула плечами, но Ленка крепко и непрекословно обхвати́ла ее за талию, прижала к своему мягкому и теплому бедру.

– Варь, ну ладно тебе... Ты чего, в кино собираешься?

– А хоть бы и в кино.

– Ну что тебе кино? Успеешь еще, находишься.

– А тебе больно нужно?

– Сама знаешь... Ну просто аж душа сохнет. Ну, хочешь, я тебя поцелую?

Варька знала, что у Ленки любовь, и давно тайно и пытливо приглядывалась к птичнице. Ленка ходила то улыбчивой и потерянной дурочкой, то рассеянной и молчаливой, но все равно было заметно, что ей хорошо. Это было чем-то вроде странной и счастливой болезни. Варьку и самое от одного этого слова охватывало щемяще-сладким ознобом, и она начинала смотреть куда-то далеко-далеко, за деревню, за край земли. Все это было как-то неопределенно и ничем не похоже на Ленкину любовь, к тому же бесследно проходило, как только она начинала возиться с утками. Но через эти смутные наплывы сладостной грусти Варька понимала, что происходит с Ленкой, и то сочувствовала ей, то вдруг упрямо и вызывающе грубила ей.

– Побудь, а, Варь... – вкрадчиво шептала Ленка. – Дай доходить... Теперь уж недолго осталось...

– Да что ты на меня виснешь! – Варька рванулась, но, не вырвавшись, задвигала острым и жестким локтем. – Нашли дуру! Я и так за вас все лето тут сижу.

– Варь, ты же хорошая, чего же ты орешь дурным голосом?

– Как хочу, так и кричу! Отпусти, говорю!

– Тебе уже пора за собой последить. Вон как давеча на тебя Сашка глядел... Парни – они все примечают: и как ходишь, и как с людьми обращаешься. А ты орешь как скаженная...

– Больно нужен мне твой Сашка! – протестующе выкрикнула Варька, снова закипая обидой на девчат за их досужую проницательность.

Она вдруг рванулась и убежала, стукотя пятками по убитому, высохшему бугру.

– Вот чумовая!

Через час, когда птичницы уже ушли, Варьке стало жалко неприкаянно бродившую возле балагана Ленку, и она, подкравшись, виновато сказала:

– Ладно, иди уж...

Ленка обернулась, вся просияв, сцапала Варьку, сдавила своими цепкими, удушливыми ручищами.

– Опять тискать! – завопила Варька, задыхаясь в сдобной Ленкиной груди. – Чуть что – прямо на ше-ею. Гляди, промахне-ешь-ся... не на ту повиснешь...

– Ах ты, язва сухоребрая! – взвизгнула Ленка.

– Уйди, говорю, а то ушибу!

Варька, вскидывая коленки, начала топать, норовя наступить Ленке на ноги, та неуклюже запрыгала, отдергивая ступни, запнулась о корыто, и они шлепнулись и раскатились, хохоча – Ленка тоненько, молодым барашком, Варька раскатисто и басовито.

Ленка стала собираться. Она стащила старенькую блузку и, продев локти в спущенные лямки нижней сорочки, оголилась до пояса, круглотелая и ладная, белея крепкими грудями. Она, ни чуточки не смущаясь Варьки, в сознании собственного превосходства, неспешно оглядела самое себя и, поглаживая нежно-розовые соски, попросила полить умыться. Варька с готовностью подхватила ведро, стала лить на мониста, в то место, где темный загар от выреза воротника четко переходил в чистую белизну спины. Ленка вздрагивала, радостно придыхала от ледяной ключевой воды, поводила литыми, сразу порозовевшими плечами, и Варьке была приятна здоровая и красивая Ленкина нежность, которой она искренне и открыто завидовала.

– Лен, а ты справная! – сказала она и тут же, отвернувшись, трижды поплевала себе под ноги.

– Тоже... выдумаешь! – передыхая, отозвалась Ленка.

– Ей-богу, Лен!

Умывшись, Ленка ушла в тракторную будку, покопалась там в сундуке, стала одеваться в чистое. Варька неотступно ходила следом.

– Варь, застегни.

И Варька, озабоченно волнуясь, неловко и торопливо застегивала настоящий лифчик, туго перерезавший Ленкину спину узкой белой полоской.

Ей было любопытно и сладко наблюдать все эти таинства девичьих сборов: как Ленка неспешным движением плавных, красивых рук расчесывала влажные после умывания волосы, встряхивала и откидывала распушенную голову, как пришлепывала комочком ваты, будто крепясь, – сначала на лоб, потом на подбородок, а затем уже на обе щеки – душистую пудру, как потом, растерев ее приученными движениями, облизала запорошенные губы, вдруг блеснувшие свежо и ярко, и как поспешила палец и провела по бровям, словно расправила два птичьих крыла. От всего этого Ленка сразу несказанно похорошела, и никак нельзя было подумать, что совсем недавно она месила утиные отруби. Варьке было немножко грустно, что все эти превращения происходят не с нею самой и что, если бы в клуб пошла она, Варька, то никому до этого не было бы дела, а просто сидела бы в первых рядах вместе с такими же, как она, девчонками, грызла бы семечки в подол, отпускала тумачи сопливым ребятишкам, которые в темноте суют за воротник раздавленный шиповник, а потом, после кино, отирались бы с подружками возле уличной гармошки, держась от нее в стороне, с независимым видом, громко и без дела смеясь и подтрунивая над старшими. И все же Варька радовалась за Ленку, радовалась ее праздничной нарядности и тому, что ожидает ее сегодня в деревне. Ей хотелось, чтобы все у Ленки было хорошо и счастливо.

– А целоваться будешь? – жарким шепотом спросила Варька.

Ленка, сощурилась, посмотрела строго и осуждающе, но, не выдержав Варькиной искренней простоты и влюбленности, самодовольно хохотнула:

– Ну и дура же ты!

– Нет, Лен, правда?

– Отстань!

Ленка ушла.

Прислонясь щекой к дверной притолоке тракторной будки, Варька долго глядела, как она шла торопким, кокетливым мелкошагьем, помахивая в руке белыми босоножками, то пропадая в ложбинах, то снова появляясь на открытом.

...Емельян и Варька наконец собрали уток в плетеный загончик вокруг балагана. Продираясь сквозь густо облепившие ее базарно горлающие утиные шеи, поддавая под них ногой, чтобы расчистить корыто, Варька вываливала из ведер теплое мучное месиво и бежала опять

к кормозапарнику. С полчаса у корыт творились галдеж и толчея, жадное чавканье и прихлебывание, потом гомон постепенно стихал, враз отяжелевшие утки, волоча зобы, разбредались от корыт, начиналась чистка перьев, прихорашивание, и наконец все успокаивалось. Спрятав головы под мышки или зарыв носы в грудастые, распушенные зобы, улегшиеся утки недвижно белели в загоне плотной булыжной мостовой.

Тем временем Варька, перевалившись через край, задрав голые, искусанные комарами ноги, выскребала и споласкивала котел, потом таскала воду, чтобы утром, к моменту, когда проснется вся эта орава и поднимет голодный крик, снова заполнить корыта свежей мешанкой.

После молчаливого ужина за тесовым столиком возле тракторной будки Емельян, неспешно выкурив самокрутку, полез, покряхтывая, в свою каморку, прилаженную сбоку к балагану, такую же безоконную, соломенную, с узким лазом, выстланную сухой осокой.

Оставшись одна и не зная, что больше делать, Варька длинной тенью бродила по притихшему птичнику. После ухода разнаряженной и откровенно счастливой Ленки, взбудоражившей Варьку своими сборами, ею все больше овладевало чувство своей никому ненужности и неотвязно росла смутная, беспокойная потребность что-то делать с собой. Солнце уже зашло, малиновым шаром, будто медный пятак в дорожную пыль, зарылось в сизую мглу на горизонте. На луга пала грустная сумеречная синева. На ближних и дальних старицах лениво и равнодушно, со старческой хрипотцой квакали матерые лягушки, нагоняя тоску и скуку.

Походив вокруг балагана в одуряющем томлении и так и не найдя себе дела, Варька вернулась в тракторный загончик. В будке еще плавало хмельное облако духов, оставшееся от Ленки. Она произвольно и жадно потянула носом этот манящий в какие-то светлые, обманчивые царства запах, от которого все вокруг: и этот соломенный балаган, и вытопанный выгон, и разбросанные по нему корыта – начинало казаться ненужным, угнетающим своей трезвой и равнодушной обыденностью.

Варька прокралась к Ленкиному сундучку, нетерпеливо и воровато покопалась в его темном нутре и выгребла себе в подол зеркальце, причудливо оговоренный флакон духов и коробочку с пудрой. С гулко колотящимся сердцем она расставила все это на откидном столике у маленького, еще светлого оконца, перед которым недавно сидела Ленка. Пристроив зеркальце, она разглядывала себя, поворачивая лицо и кося глаза, потом открыла пудру и мазнула ватой по облупленному редисочному носу.

Нос мучнисто-бело проступил на темном остроскулом лице, и тогда Варька, будто испугавшись, стала торопливо заляпывать все остальное. Из квадрата зеркала на нее смотрело безбровое большеротое существо. У существа было странно бледное, мертвое лицо и почти черные оттопыренные уши. Оно поворачивало голову на длинной тонкой и тоже почти черной шее и косило круглые, болотно-зеленые глаза с отчужденно и испуганно расширенными зрачками, после чего ненавидяще, со злобной растяжкой сказало:

– У, зан-н-нуда!

Она выскочила из будки, сбежала к озеру, сдернула через голову сарафан и вышагнула из трусов. Берег был илист, истоптан крестиками утиных лап. Варька голышом, горбясь, побежала вдоль берега к круче и с ходу, высоко вскинув пятки, бухнулась вниз головой. Над ней взбурлил пенный бурун, затухая, он расплылся по озеру тяжелыми ленивыми кругами, разнося на изгибах прибрежную черноту воды. Она долго и сильно гребла в придонной глубине, пугаясь невидимых трав, трогающих ее живот мягкими, вкрадчивыми лапами, и вынырнула далеко от берега, задохнувшись, оглохшая от шума воды в ушах. Коротким нырком Варька смыла с глаз прилипшие волосы, шумно отфыркалась, потеряла по лицу ладонями и поплыла ребячьими размашистыми саженками. Вода охладила и успокоила Варьку. Уморившись, она опрокинулась на спину, вытянулась плашмя и замерла. Над поверхностью виднелись только нос и подбородок да еще два бугорка груди, то проступавших, то погружавшихся в ритме Варькиного дыхания.

Озеро простиралось в темной раме вечерних сумеречных берегов. Плотной стеной темнели по сторонам камыши, чернела причаленная Емельянова лодка, чернели верши, выброшенные на сухое, и только сама вода была еще светла. Лежа на спине на середине озера, Варька не замечала ни берегов, ни обступивших камышей, она видела только небо, огромное и высокое, кажущееся особенно высоким теперь, вечером, когда только в самой безмерной его глубине, на неподвижно замерших кучеряшках облаков еще розовел свет давно угасшей зари. И еще видела она воду, начинавшуюся у самых ее глаз. Зеркально ясная гладь озера, чуткая ко всему, что простиралось над ним, была заполнена подрумяненными облаками и уже не казалась озером, а таким же, как и небо, бездонным пространством, и нельзя было сказать, где кончались настоящие облака и где было только их отражение. Два мира, вода и небо, охваченные вечерним задумчивым покоем, где-то за пределами Варькиного зрения слились воедино, и ей стало радостно и жутковато вот так, одной, недвижно парить в самой середине этой сомкнувшейся светлой бездны, и снизу и сверху заполненной облаками. Она наслаждалась простором, легкостью, почти неосязаемостью своего тела, и все ее недавние томления и горести казались нелепыми и смешными. Здесь не было ни балагана, ни Ленки, ни деревни, – все это ушло из ее сознания и стало почти нереальным, а была только одна она, Варька, в своем гордом и высоком одиночестве. И она завопила как можно громче, для одной только себя, не стесняясь своей безголосости:

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины.

И так же нараспев, затажно выкрикнула:
– Я-я-я-я! Эге-ей!

Своего голоса Варька не услышала, потому что уши находились под водой. Она смутилась, взбила ногами шумный фонтан и поплыла к берегу. На ходу она обрывала белые лилии, уже закрывшиеся на ночь. Лилии волочились за ней на длинных гибких стеблях, концы которых Варька придерживала зубами. Она любила делать из них мониста, надламывая стебелек то в одну, то в другую сторону. Получалось что-то вроде цепочки с тяжелым цветком на конце.

Одевшись и сполоснув в лодке ноги, Варька расстелила на берегу, на высоком месте, телогрейку, бросила на нее пучок лилий, принесла и разложила рядом полдюжины крепких приплюснутых помидоров, краюху хлеба и соли на лопушке. Помидоры еще хранили в себе тепло знойного дня, Варька, озябшая после купания, радовалась этому живому теплу, некоторое время держала помидоры в ковшиках ладошек и лишь потом, надавливая большими пальцами на черенковую ямочку, разламывала пополам. Положив половинку в рот, она запрокидывала голову, досылала щепотку соли и, пожевав, прикусывала краюшкой. Она ела не спеша, радуясь вкусу хлеба, с удовольствием хрустя крупинками соли, ела, поглядывая, как в лугах зарождались туманы. Сизое курево проступало откуда-то из низин, слоилось тонкими лоскутами, обозначая все неровности земли, старицы и ложбины. Постепенно туманы перемешались с загустевшей сумеречной синевой, упрятались горбатые спины стогов, темные островки лозняка, далекие деревеньки на суходолах, а затем и сами суходолы, скрылись все следы человеческого бытия. Размылся и пропал из виду горизонт, раскованная перед сном, отпущенная на волю земля беспредельно разбегалась во все стороны, таинственно уходила краями в глубину ночи и простиралась перед Варькой в величавоспокойной тишине и безлюдье.

Варька доела помидоры, легла на живот, подперла голову кулаками. Она лежала просто так, умиротворенно глядя и прислушиваясь к лугам. Именно в эти минуты прихода ночи Варька испытывала наибольшую близость и свое слияние с простой и ничем не приметной круговиной земли, простершейся вокруг нее. Она чувствовала себя тоже раскованной и отпу-

щенной на волю, и в такую пору луга всегда манили ее куда-то. Они манили ее своей новой незнакомостью, когда даже стог, много раз виденный днем, вдруг неузнанно выплывал из темноты и воспринимался с удивлением и легким испугом, манили своей таинственной оборванностью тропинок, которые, казалось, были протоптаны не просто к балагану или к бахчевым шалашам, а вели к неразгаданному и где-то совсем близко заплутавшемуся счастью, заставляя чутко прислушиваться при каждом шаге и держать настороже свое тихо и радостно бодрствующее сердце, учащенное острым ощущением бытия.

Между тем взошла поздняя, натужно-красная луна. Пробившись сквозь сдвинутые к горизонту плоские и вытянутые облака, она очистилась от багровости, пролилась рассеянным, не оставляющим теней голубоватым светом. В загустевшей было темноте наступил перелом. Варька знала, что теперь уже до самого утра в лугах будет брезжить эта призрачная голубизна. За озером на просянном поле глухо заворочался трактор – начали перепаживать под зиму. Поле это не имело правильной формы, оно причудливо изгибалось меж обступивших низин, и трактор, светя себе единственной фарой, будто зеркальцем, мерцал издали на поворотах. «Сбежать посмотреть!» – обрадовалась Варька возможности пойти куда-нибудь.

Но пока она обходила озеро и шла лугом, трактор успел обогнуть поле и теперь удалялся по другому его краю. Свежая пахота опоясала белесое при луне просыное жнивье. Варька пожалела, что не перехватила трактор и не посмотрела, кого прислали распахать просо, и некоторое время шла следом, по борозде, босыми ногами ощущая влажный холодок перевернутого пласта. Но вдруг заметив слева от поля огонек, которого раньше не видела, остановилась. Огонек то исчезал, то опять вспыхивал, и Варька сначала подумала, что кто-то идет лугом и курит, и лишь когда он вскинулся ясным высоким пламенем, она поняла, что разжигали костер. Еще сама не зная, что собирается там делать, Варька выбралась из борозды и свернула влево. Она шла, не обходя глубоких низин, держась на свет костра. Старицы запутанными петлями избороздили луг, вода в них держалась недолго, только после половодья, а остальное время стояли сухими, иные лишь с вязкой мокрецей, вокруг которой безудержно бушевали травы и лозняки. Только немногие питали себя подземными ключами. Но Варька еще издали определяла их по лягушачьему кваканью. Низины до краев были заполнены серебристым при лунном свете туманом. Варька входила в него, как в воду, сначала по пояс, а потом и вовсе с головой. Твердь земли внезапно убегала, почти проваливалась под ногами, тело охватывал овражный холодок, и Варька с приостановившимся дыханием продиралась сквозь брызжущие росой заросли, разрывая сомкнувшиеся стебли коленками и спеша поскорее выбраться на открытое. А выбравшись, оглядывалась и с поздним веселым страхом удивлялась самой себе, как это она прошла через этот распад, такой жуткий и затаенно-невидимый под седой гладью тумана. Уже неподалеку от костра в одной из таких низин Варька повстречала лошадей. Они паслись на дне, под туманом. Были слышны только сочное хрумканье и тяжелый переступ спутанных ног. Из серой пелены то проступал темный круп, то показывалась поднятая голова, будто кони всплывали из озерных глубин, и тогда они казались Варьке фантастическими чудищами, что бродили по земле в далекие времена.

У костра Варька никого не встретила. В мерцающей круговине света стоял только белый Парашечкин конь, задумчиво и недвижно глядевший на желтые языки пламени. Казалось, что это он распалил костер, чтобы просушиться от низинной сырости и обдумать какие-то свои лошадиные думы.

Варька поглядела по сторонам, застыла от света ладошкой. Удивленно хмыкнув безлудью, она приподняла сарафан, поставила под горячий дым мокрые озябшие коленки. Мерин за ее спиной переступил несколько шагов, потянулся шеей, стал обнюхивать и тыкаться мягкими губами в Варькины лопатки, отдавая теплым травяным дыханием и щекоча шею усатой мордой.

– Отстань, дурак, – незлобно передернулась Варька и, обернувшись, увидела бредущего к костру человека.

Варька ойкнула, поспешно опустила густо паривший подол. В круг костра вошел Сашка в наброшенной на плечи стеганке, с жестяным чайником в руке. Варька замерла от неожиданности.

Весь сегодняшний вечер она полнилась какой-то радостно-беспокойной смутой, странным и непонятым ожиданием, отчего было просто невозможно свернуться калачиком в тракторной будке и проспать эту ночь, и ноги сами бежали и несли ее в туманные, затаившиеся дали лугов. Она не знала, кого встретит у этого одиноко мерцавшего костерика, не думала ни о ком и ни о чем и шла сюда в неосознанном стремлении идти куда-то. И вдруг этот Сашка. Его будто нарочно кто подослал во второй раз за сегодняшний день. Она замерла, охваченная мгновенно налетевшим чувством сладкого и знобкого смятения. Тотчас припомнился внимательно-тягучий Сашкин взгляд, каким он посмотрел на нее давеча возле тракторной будки и который Варькина память помимо ее желания, оказывается, ревниво припрятала в своих самых тайных глубинах – припрятала даже от нее самой, еще не умевшей ничего беречь долго и серьезно.

Сашка сбросил с себя телогрейку и, оставшись в красной майке, сливаясь чернотой обнаженных рук и плеч с чернотой ночи, загущенной светом огня, подсел к костру. Он молча закопал в угли чайник, подложил сушняку, потом, припав на четвереньки, стал раздувать пламя. Он дул в малиновый переливчатый жар, медно блестел лицом от пламени и, отстраняясь, чтобы глотнуть свежего воздуха, обнажал сахарно-белые, клыкастые зубы. Варька глядела на Сашку, так и не поняв, обрадовалась она ему или испугалась.

На нее же он не обращал ни малейшего внимания, будто ее вовсе тут и не было, и это его непонятное молчание еще больше смущало Варьку.

Она хотела было уйти, исчезнуть так же тихо в ночи, как и появилась, но за спиной был длинный, запутанный и нехоженный путь к озеру, через отяжелевшие от студеной сырости луга, а здесь горел огонь, и он притягивал изыбшую Варьку веселым, обжитым теплом. Но еще больше притягивали вдруг открывшееся тайное Сашкино одиночество и сам Сашка, такой непонятный и ни на кого не похожий. Все еще не поборов робости, она тихо присела по другую сторону костра, отгородившись от Сашки ярко заплывавшим пламенем.

– А ты чего тут?

Сашка оторвался от огня и долгим прищуром посмотрел на нее, будто увидел только теперь.

Внутренне холодея, ожидая какого-то страшного гипноза от Сашкиных сливово-черных глаз, чувствуя, что деревенеет лицом, Варька, однако, выдержала взгляд. Сашка отвернулся первым, и она сказала как можно небрежнее:

– Костра, что ли, жалко?

Охватив колени руками и чуть откинувшись, она с независимым видом стала следить за искрами, торопливо, в неверном, трепетном лете исчезающими в темноте.

– Куда идешь?

– Кино смотрела, – соврала Варька. – На птичник иду.

– Тут дороги нету.

– А я напрямки.

Сашка покосился на мокрый подол сарафана.

– Смелая...

Отвалившись, он вытащил из куста котомку, выложил из нее жестяную самодельную кружку и, покопавшись, выгреб горсть черной ягоды вместе с листьями и мелкими веточками. Все это, не очищая, он натолкал в чайник.

– Чай кипятить? – дружелюбно спросила Варька.

Сашка хмуро усмехнулся:

– Зелье завариваю.

Было видно, что в нем еще не улеглась обида на птичниц, а может быть, заодно и на нее тоже.

Сашка на ощупь брал из вороха несколько веток и не спеша выкладывал их колодцем по бокам чайника. Огонь то вспыхивал, жадно набрасываясь на одеревенелые былки прошлогоднего бурьяна, то опять затаивался под шевелящимся пеплом. Ночь топталась и ходила вокруг костра, отступая перед огнем на несколько шагов и снова сужая круг, и тогда Варька спиной чувствовала ее влажное прикосновение. Глядя, как Сашка, большеголовый от непроглядной черни спутанных завитков, весь в пляске багровых бликов, с молчаливой сосредоточенностью возился с чайником, взбудораженная всей этой таинственностью глухого, затерянного места, она и сама была готова поверить, что он на самом деле заваривал что-нибудь небывалое и колдовское. Но она только передернула плечами:

– Так уж и зелье...

– Не веришь?

Подавляя неприятный холодок сомнения, Варька вызывающе встряхнула головой:

– Дай попробовать.

Сашка молча снял с огня вскипевший чайник, не спеша, с какой-то устрашающей медлительностью нацедил отвару и, подняв смоляную бровь, поставил кружку в траву рядом с Варькой.

– Дурочкой станешь, – предупредил он, насмешливо блестя глазами.

– Так уж и дурочкой! – передернула плечами Варька. – Держи карман!

Кружка жгла руки, Варька завернула ее в холодные листья конского щавеля. Вытянув сторожо губы и кося к носу глаза, она легонько потянула крепко пахнущий кипяток.

– А, испугалась! – Сашка вдруг весело захохотал, довольный, что подурачил Варьку.

– И ни чуточки! – сконфузилась Варька.

– Видел, видел! – смеялся Сашка, прихлопывая по коленкам.

– Подумаешь! Обыкновенная смородина. – То, что кипяток был заварен самой обыкновенной черной смородиной, даже разочаровало Варьку. – Думаешь, не знаю, где рвал? Возле Белых ключей. А я знаю, где ежевика.

– Сам знаю.

– А терн?

– Какой такой терн? – не понял Сашка.

– Синяя ягодка. С косточкой.

– Колючий такой? Знаю. Сколько хочешь.

– А свербига где, знаешь?

Сашка замигал мохнатыми ресницами.

– И не знаешь! – обрадовалась Варька.

Она прихлебывала чай маленькими жаркими глотками, посматривая на Сашку сквозь душистый парок и торжествуя, что Сашка не знает свербигу.

Сашка достал кусочек пиленого сахара, небрежно бросил в Варькин подол. Потом вытащил желтую, в пятнистых подпалинах лепешку, разломил на коленке и положил на траву возле Варьки.

Ободренная Сашкиным угощением, она принялась за лепешку. Лепешка оказалась свежей, с хрусткой, поджаристой корочкой, и было вкусно запивать ее смородиновым чаем. Ее первая сковывающая робость перед Сашкой прошла, да и сам Сашка больше не смотрел на нее с пугающей настороженностью, и ей стало легко и хорошо.

Примечая в Сашке все цыганское – его буйную черноту волос, диковатый, летучий взгляд, гортанную картавость речи, все то, что вызывало у деревенских девчонок непонятную ей самой настороженную неприязнь, Варька посматривала на Сашку с добрым участием,

дивясь его притягивающей необычности. К нему как-то особенно шли и длинные, затоптанные на отворотах штаны, и жарко-красная майка, и этот огонь, игравший на каштаново-черных плечах влажными блуждающими бликами, и даже сама ночь, которую он коротал неспешно и деловито.

– Саш, а ты откуда? – спросила она, думая о том, где он жил и вырос до того, как объявился в деревне.

– Как откуда? – не понял Сашка.

– Ну, где жил раньше?

– А нигде...

– Как это?

– А так... Ездил.

– Ну, а родился-то ты где?

– А не знаю, – сказал Сашка с небрежным безразличием. – Тебе зачем?

– Так просто... Чудно как-то...

Та его жизнь была для Варьки загадочной и непонятной и казалась зря потраченной.

– И в школу не ходил?

– Какая школа? Говорю – ездил...

– А что делал, когда ездил?

– Что делал, что делал... Когда дождь – из кибитки смотрел. Когда вечер – у костра сидел.

Когда на базар ходил – плясал. – И, усмехнувшись, добавил: – На пузе, на голове...

– Как это? – удивилась Варька. – Покажи.

– Что ты как муха... жж-жж... Чаю – дай, как жил – скажи, плясать – покажи... Музыку надо. Я без музыки не могу.

Варька пошарила позади себя рукой, нащупала узкий листок лисохвоста, сорвала и, заложив между двух больших пальцев, поднесла к губам. В ее ладонях родился негромкий бархатистый звук. Белый конь приподнял жесткие изогнутые ресницы и сторожко шевельнул ушами. Набрав побольше воздуха и раздув щеки, Варька заиграла «Яблочко». Она дудела, покачиваясь из стороны в сторону, раскрывая и прикрывая ладошки и весело посмеиваясь одними только глазами. Лисохвост пел совсем как дудочка – нежно и чисто.

Сашка некоторое время удивленно смотрел и слушал, губы его непроизвольно раздвигались и раздвигались, пока не прорезалась широкая белозубая улыбка. И вдруг, будто решившись на отчаянный поступок, он подскочил, утробно гикнул и частой дробью прошелся ладошками по коленкам.

– Давай.

В следующее мгновение он уже встрепанным бесом выстукивал пятками, пришлепывая и пришаркивая длинными обтопанными штанинами, бубня себе под нос какие-то слова, то ли просто так балабоня языком.

Варьке было забавно и весело глядеть, как в красных отблесках огня смешно подскакивал Сашка, колотил себя с неистовой яростью то по выпяченному животу, то по надутым щекам. Вдруг он быстро нагнулся, уткнул голову в траву и, упершись в землю руками, задрал ноги. Сделав на голове несколько неуклюжих прыжков, Сашка опрокинулся на живот и, изогнувшись рыбой, завертелся на животе, подминая метелки травы. Наконец он подскочил, часто дыша и улыбаясь открытым ртом.

Варька хохотала, пригнув голову к коленкам.

– Чего смеешься? – спросил Сашка, сам хохоча и пьяно пошатываясь. – Тут плохо... трава мешает... И давно не плясал... разучился малость.

Он отхлебнул из кружки остывшего чая и пошел собирать сушняк.

Откинувшись на траву, Варька слушала, как где-то совсем рядом, за ближайшими кустиками бессмертника, деревянно поскрипывал коростель: кр-икр, кр-икр... Варьке чудилось, что

это вовсе не птица, а сторож Емельян скрипит своей деревяшкой, ковыляет в лугах, ищет ее, Варьку, хочет загнать в тракторную будку. Но ей не хочется в будку и совсем не хочется спать. Вот даже ни капельки! И Варька, тихо посмеиваясь, загребла обеими руками и пригнула себе на грудь, на лицо гибкие шелковинки мятлика. Пусть Емельян пройдет мимо. Он не должен ее найти. Она глядела сквозь кружево тонких метелок в небо, вдруг проступившее после костра. Ночь сияла, искрилась щедрым, непрерывно струящимся лунно-голубым свечением, в логу звенели путами кони, и пьяняще пахло аиром, раздавленным конскими копытами. От этого ощущения ночной светлой земли Варька испытывала в себе радостную легкость и тихое ответное ликование.

Пришел Сашка, сбросил вязанку сушняка, стал подкладывать и раздувать огонь.

– Не надо, – тихо попросила Варька. – Давай посидим так.

Сашка послушно присел на вязанку.

Они молчали, прислушиваясь друг к другу.

– Это твои лошади в логу? – спросила наконец Варька.

– Мои. А что?

– Просто так... Мало их осталось.

– Четыре пары. И две на конюшне.

– Что станешь делать, когда и этих сдадут? Тебе жалко, что лошадей не будет?

Сашка захрустел вязанкой.

– Я на трактор уйду, – глухо сказал он.

– На трактор так не возьмут. Надо учиться.

– А сколько надо? – с боязливой надеждой отозвался Сашка.

– Семь классов.

– Семь? Много... А у тебя сколько?

– Девять...

– Девять! – не поверил Сашка.

– Сдам уток – в десятый пойду.

– Зачем тебе столько?

– Не знаю... Буду уток считать! – засмеялась Варька.

– А у меня только два, – не сразу ответил Сашка. – Осенью в третий буду ходить. Три будет. Я в сельмаге книжку купил про трактор. Когда коней пасу – картинки гляжу. А слова не понимаю.

Сашка замолчал. Было видно, что он всерьез огорчился.

– А ты пока сказки читай, стихи, – посоветовала Варька. – Тогда и про тракторы поймешь.

– Я читаю...

Сашка потянулся к котомке, вытащил и подал Варьке маленькую книжечку.

– Вот...

Открыв книжку и повернув ее к лунному свету, Варька узнала пушкинские поэмы. Она узнала их как-то сразу, еще до того, как разглядела название, – одним только беглым взглядом на стройные, точеные колонны стихов. Она перебирала страницы, и в ней непроизвольно, сама собой, рождалась какая-то неуловимая, светлая и высокая музыка. Совсем так, как звучно начинала петь для нее одной та самая скрипка, которую она каждый раз видит на гвоздике в сельмаге.

– Эту читать легко. – Сашка ревниво следил за Варькиными пальцами, перелистывавшими страницы. – Про цыган написано. Сандро Пушкин писал.

– Александр Пушкин, – поправила Варька.

– Н-нет! – Сашка упрямо тряхнул кудрями. – Сандро! Как я. Я Сандро, и он Сандро. Цыган тоже. Тут есть его портрет. Я глядел – цыган.

Варька вовсе не собиралась уступать Пушкина, но спорить не захотела. Она была сегодня добрая и не стала разрушать Сашкину наивную и гордую веру. Пусть думает. Она только сказала:

– Это тоже Пушкин написал...

И негромко, бережно отставляя друг от друга слова, сама завораживаясь торжественностью вещей стихов, стала читать «Памятник».

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

Пушкин – он для всех, – сказала Варька, дочитав стихотворение до конца.

Сашка молчал, задумавшись.

В двух шагах от нее по-прежнему дремал конь. Он стоял против лунного света и теперь виделся не белым, а будто высеченным из серого камня. Варька глядела на него снизу, сквозь спутанную сетку мятлика, и ей, возбужденной только что прочитанными стихами, от которых все вокруг обрело какое-то новое видение, конь показался вдруг сказочно высоким. Он возвышался над ней узловатой, глыбистой громадой. Над его хребтом висела, почти касаясь, луна, и шерсть на крупе голубовато блестела горным слежалым снегом.

– Давай покатаемся, – сказала, радостно замирая.

– Ты что?

– Давай, Саш! Смотри, как хорошо!

Сашка промолчал.

– Ну дай мне лошадь. Я одна поеду.

– Ты что, дурочка?

– Ничего ты не понимаешь!

Она поднялась и вдруг, тихо чему-то засмеявшись, кошачьим прыжком подскочила к лошади, подхватила свисавший повод и вскинулась, переломившись, животом на спину. Испуганный конь шархнулся и понес прочь в тяжелом галопе.

– Догоня-я-ай! – донесся ее азартно-радостный голос.

Сквозь всплески белой гривы Варька видела, как проносились мимо лунно-серые купы лозняков, тускло и бездонно мерцала вода в низинах и как все бежало и бежало навстречу нестройно рассыпавшееся в мокрых травах черное войско конских щавелей. Перемахнув топкий ручеек, Варька выбралась на отдающий чабрецом песчаный бугор и придержала повод. И сразу до нее донесся торопливый галоп. Сашка! Она почти наверняка знала, что он пустился в погоню. Ей даже хотелось, чтобы он за нею погнался. Она только не знала, какой скачет за нею Сашка: то ли обозленный ее своеволием, то ли задетый ее насмешливым вызовом... Пронизанная сладким холодком испуга, Варька ойкнула и пятками ударила лошадь. Она чувствовала под собою живую доверчивую силу, тепло боков под своими коленками, терпкий и горячий запах бегущего коня и, радуясь охотной резвости понявшего Варькин порыв животного, припала к холке и отпустила поводья. Конь ровно понес ее гребнем суходола между двух темнеющих зарослями стариц. Он нес ее к вольнице покосов в неоглядной россыпи темных стогов.

Оглянувшись, Варька с жутким замиранием заметила позади себя на залитой светом луговине черное пятно всадника. Она поняла всю невыгодность белой масти своего коня и, доскакав до первых выступавших на пути лозняков, обогнула кусты и свернула к старице. Мокрые ветки захлестали ее по ногам. Она подобрала ноги, собралась в комок на самом крупе. Под копытами захлупала вязкая грязь. Дремавшая на черной воде луна лениво закачалась и, уродливо растягиваясь, разорвалась на масляно-золотые ломти. Крепко ударил из-под копыт запах

застоялой болотной прели. Из темных прогалов в лозняках с сухим треском вылетела какая-то птица. Мелькнув белым, она исчезла за выступом противоположного берега. Конь вздрогнул всей кожей, прынул в сторону. «Не бойся, не бойся, родненький!» – приговаривала Варька, сама замирая и не дыша, и похлопала лошадь по вздрагивавшей лопатке. Она направила коня на ту сторону и, почти повиснув на его гриве, выбралась на обрывистый берег.

Едва переводя дух и приглядевшись, Варька снова увидела Сашку. Он разгадал ее уловку и тоже успел где-то перебраться через старицу. Она снова вскачь пустила лошадь, хотела было проскочить к стогам, но Сашка, заметив ее белое мельканье, стал забирать левее, тесня ее в открытые луга. И тогда, тоненько, по-щенячьи скуля, то ли всхлипывая, то ли захлебываясь загнанным смехом, сама не замечая этого смеха, она поскакала напрямую. Встречный ветер взбил сарафан и до трусов оголил ее ноги. Где-то уже давно потерялась гребенка, и волосы били по лицу и набивались в рот. Она скакала теперь к трактору и в прорези конских ушей, как на мушке прицела, старалась удержать плясавший от скачки светлячок тракторной фары. Оглядываясь, она видела из-за плеча черную глыбу всадника, с молчаливым упорством преследовавшего ее.

Сашка нагнал ее у самого просяного поля.

Варька услышала за спиной топот и тяжелый, отрывистый всхрап Сашкиного вороного. Метнув глазами, она увидела у самого локтя вспененный оскал конской головы. Она заколотила пятками, рванула повод, но горячий конский бок придавил ее ногу, и тотчас что-то крепко обхватило ее у поясницы и сорвало с коня. Варька вскрикнула и зажмурилась.

– Ну?.. Ну?.. Догнал? – задыхаясь и давясь словами, спрашивал Сашка. Он втащил ее на свою лошадь и, больно в горячности обхватив свободной рукой шею, придавил голову к груди. – Будешь еще? Будешь?

– Пусти! Сумасшедший!

Сашка прерывисто дышал ей в шею, и она слышала тугие и гулкие удары его сердца под майкой. И вдруг, нагнувшись и накрыв ее лицо черными растрепанными вихрами, впился в губы торопливым, жадным поцелуем.

– Да ты... что?! – завопила Варька, вцепившись в Сашкин чуб и оторвав Сашку от себя.

– А зачем убегала? Зачем? – горячим, обжигающим шепотом бессвязно твердил Сашка. – Думала, не догоню, да?

Варька, полыхая стыдом, забилась в его руках и угрем скользнула с лошади.

– Потому что цыган, да? – глухо пробормотал Сашка.

– Потому что... дурак!

Не оглядываясь, Варька рысцой побежала к черневшей впереди пахоте. Она бежала, ступая росой ноги, прикрыв голые худые плечи перекрещенными на груди руками. «Чего ж это он? – взбудораженно думала она, силясь понять случившееся. – Чего ж я-то?..»

Она выбежала к просянному полю и пошла по борозде к своему озеру. Трактор все еще пахал. Где-то позади нее он обшаривал развороченную землю длинным косым лучом, и его озабоченный гул за спиной рождал в Варьке успокаивающее чувство близости человека. После ледяной росы вспаханное поле казалось теплым, и она пошла по крайней борозде, отогревая в мягкой рассыпчатой земле окоченевшие ступни.

На одном из поворотов луч трактора внезапно выхватил из темноты лошадей, и Варька тут же увидела Сашку. Он сидел на бочке из-под горячего, брошенной на закраине поля, и держал в поводу обеих коней – белого и черного. Но вот трактор снова чуть повернул, и видение исчезло.

Варька, нагнув голову, торопко шла в ярком пучке света мимо этого места. Она знала, что Сашка ее видит, и ей было не по себе идти вот так, у него на виду. Хмельно путались мысли, почему-то не шли, деревенели ноги, и губы все еще обожженно и стыдливо горели и казались неподвижными и чужими.

Наконец она выбралась из борозды и, набредя на знакомую тропку, побежала к озеру. Она бежала, чтобы согреться, сначала неходко, вялой трусцой, но потом все прибавляла и прибавляла ходу. Она бежала, не останавливаясь и не передыхая, глубоко и жадно дыша тугим студеным ветром, зажигаясь горячей радостью бега.

Край неба на востоке слегка позеленел, когда Варька, еще издали выглядывая Емельяна, прокралась к балагану. На берегу по-прежнему валялись отсыревшая за ночь телогрейка и пучок лилий. Она подобрала цветы и прошла к загону.

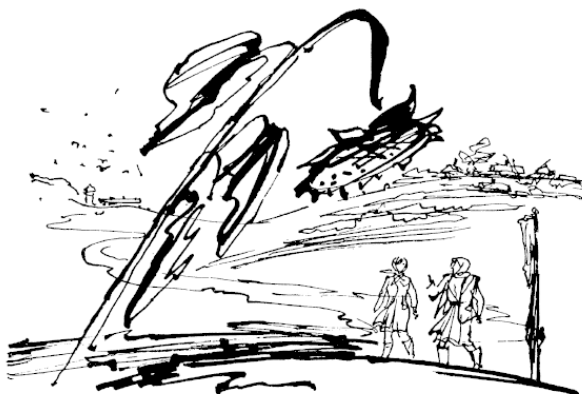
– Ну, как вы тут без меня, мои родненькие? – ласково заговорила она, перегнувшись через прясло. – Сейчас я вам каши запарю. Просяной. Это вам Сашка привез. Три мешка. Знаете Сашку?

«Сказать Ленке или не сказать?» – уже без испуга, с запоздалым счастливым откликом думала она в то же время о Сашкином поцелуе. И, ужаснувшись этой безумной мысли, сладостно обомлев, Варька тихо, одной только себе, прошептала:

– Низачтошеньки!

Утки понимающе кланялись, согласно и дружно прядая желтоклювыми головками.

Шуба



Засыревший большак, исполосованный колесами, выбирая, где поположе, широкой дугой поднимается на косогор. На дороге и пашне еще видны следы недавней бессонно-горячей работы, когда из земли выбиралось и выдиралось все, что она успела и сумела родить людям за недолгое лето. То попадалась в колее раздавленная колесами свекла, то звено от тракторной гусеницы или еще какая неведомая железяка, оброненная впопыхах машиной, то в стороне, среди черного, белесые скирды молодой соломы. А у обочины торчал случайно не задетый плугом, сгорбившийся, как старик, сухой подсолнух. Ветер шуршал лохмотьями его листьев, а он все кивал и кланялся путникам непокрытой растрепанной головой.

Страда отшумела, и теперь по обе стороны большака чернела по-осеннему засмиревшая земля, комковато и неловко улегшаяся на покой.

Дуняшка и Пелагея, поспешая, шли обочь дороги. Опустевшие поля не вызывали у них никаких размышлений: они здесь жили, и все было привычным и незаметным, как этот осенний полевой воздух, которым дышали. Они шагали бок о бок и оживленно болтали о всяких своих житейских делах.

Пелагея, еще шустрая, сухощава баба, шла налегке в сером клетчатом платке и в Степкином ватном пиджачке с жестяными перекрещенными молотками в петлицах, – Степка учился в школе механизации, на воскресенье приехал домой, и Пелагея выпросила у него пиджак съездить в город. Из-под пиджака высовывался белый, оборчатый, надетый по торжественному случаю передник, который встречный ветер то поддувал пузырями, то запихивал между худых Пелагеиных колен. Но она не одергивала, а так и шла, шлепая о тощие икры широкими голенищами резиновых сапог.

Дуняшка старалась не отставать. Она хоть и была повыше матери, но подростковое пальтишко с короткими рукавами узило ее в плечах и как-то казалось и ниже ростом и моложавее, скрадывая года два – именно те, в течение которых Дуняшка успела повзрослеть, похорошеть и уже кое-кому приглянуться.

Увлеченные разговором, они все прибавляли и прибавляли ходу, пока, запыхавшись, Пелагея уже не могла ничего связно сказать, кроме отдельных, перебитых частым дыханием слов, после чего она останавливалась и удивленно оглядывалась на деревню, говоря:

– Чтой-то мы... так... бегём? Гляди, уже где... дворы. Небось... не на пожар.

Но, передохнув минутку, они снова поворачивались и шли скоро и торопко. Такая уж деревенская дорога: сызмальства не приучены ходить по ней вразвалочку. Всегда у бабы в конце этой дороги какое-то спешное дело: детишки ли, квашня ли с тестом, поросенок ли некормленный, – если идти с поля, а если в поле, то и того пуще всяких дел, особенно когда подо-

спеет страда. Как ни богат колхоз техникой – и комбайны, и культиваторы, и сеялки-веялки всякие, и тракторы по восемьдесят лошадиных сил, – и все же еще столько прорех, что каждый умный председатель, если хочет, чтобы дело шло без сучка без задоринки, непременно бросит клич: «А ну, бабоньки, подсобим! – и добавит для подбодрения: – Техника техникой, а все же бабы в колхозе – большая сила!» И бабы наваливаются. Мужики ездят на тракторе взад и вперед по свекловищу, дергают рычаги, руль крутят, выковыривают культиватором бураки. А бабы, будто галки за плугом, с галдецей, коли еще не притомились, или уже молча к закату дня, все собирают и собирают свеклу в корзины и подолы и таскают, и таскают ее, в комьях тяжелой земли, по перепаханному полю в кучи. А после, собравшись в кружок, вперемежку с пустыми разговорами и пересудами незаметно да и переворошат опять многие тонны бурака, обобьют от земли, отсекут ботву, обрежут хвосты и сложат в кучи. И лишь когда за вечерет и не разобирать, то ли это свекла, то ли просто грудка земли, поднимаются пестрой стаей и бегут, бегут полевой дорогой, на другом конце которой ждут их другие неотложные домашние заботы.

А на току разве обойтись без нее? Или на сенокосе? На ферме? Да где ты без нее обойдешься? Нехитрая машина – баба, простая в обращении, на еду непривередливая, не пьет, как мужик, и не кочевряжится при расчете. Мужик за кручение руля на тракторе полтора трудодня берет, хоть и со сменщиком работает, она без всякой смены и на половинную долю согласна, потому как понимает: руль с умом крутить надо. А где бабе ума взять? Ум-то весь мужикам достался.

Но особенно поспешает она, если, вырвавшись от дел, соберется в город. Не часто это случается, и поэтому побывать в городе – чуть ли не праздник. Потолкаться в магазинах, посмотреть на ситцы, а коли есть деньги, развернуть их колковатую, нетронутую, радостно-пеструю свежесть – ромашками да незабудками, – повыбирать и поволноваться, прикидывая в уме, как это подойдет подростшей девке, а то и себе. Себе-то ведь тоже хочется!

А платки какие! За шелковый и взяться страшно: к рукам липнет. Руки-то шершавые, а материя что твой дым – дунул, и полетела! И обутка всякая, и гребенки. Конфет да пряников – аж в глазах рябит. Целый день ошалевшая, радостно-увлеченная, ходит она по лавкам да по лоткам, не поест, не присядет, потому как нет для нее ничего волнительнее, чем разные товары да обновы.

Купит ли картуз мальчонке или мужику – не прячет его в корзину, а наденет поверх платка и несет всю дорогу, чтобы не помялся часом, а больше – чтоб люди видели обнову. Картуз-то вся цена два рубля, а несет она его так, будто невеста что купила. А уж если ситчику или штапелю на платье, то всю дорогу останавливается, заглядывает в корзину, щупает, шепчет что-то над ней и вдруг зардеется смущенно, если застанут невзначай за этим таинством знакомые...

– Да вот обнову купила, – скажет, посерьезнев. – И не знаю, то ли угодила, то ли нет? – Но тут же сама и порешит: – Сошьется – сносится. Не барыня.

А у Пелагеи и того важнее была причина торопиться: Дуняшке идут пальто покупать. Не какое-нибудь простенькое. А хорошее, настоящее зимнее. Чтоб с меховым воротником, на подкладке шелковой, да чтоб сукно было доброе. Не часто приходится такие дорогие обновы справлять. Себе-то уж и не помнит, когда покупала. С воротником – так и вовсе. Почитай, полсотни лет прожила, а ни разу мехового воротника не носила. Да их как-то раньше и не было, окромя овчинных. Платок наинула – вот и весь воротник. Теперь-то всякие пошли. Под разного зверя. Во всем их роду Дуняшка первая наденет. Подружки уже посправляли, а она до сих пор в этом куцем бегаёт. Против людей неловко. Да и то сказать – невеста уже. Третьего дня вышла Пелагея ввечеру корову подоить, глянула через плетень, а Дуняшка с парнем у калитки стоит. Это ничего, что с парнем. Уже самостоятельная. Нынче осенью тыщу двести в колхозе заработала. Пятьсот рублей уже разошлись. Поросяточка купили, сена копенку, да

и так, по мелочам, потратилось. Если не купить – разойдутся. Тогда до будущего года ждать. А то уж одета будет.

Потому и чистила сапогами Пелагея, будто сваха, озабоченная и взвинченная предстоящим нешуточным делом. Где-то там, как в сказке, за горами, за долами, невесть в каком магазине, в каком универмаге, неведомо еще какое – синее, черное или коричневое, а может, и еще краше, висит то, единственное, с меховым воротником, которое предстоит Пелагее разыскать, выбрать, да не прогадать ни в какой малости, чтобы в самый раз пришлось Дуняшке. Не так уж это просто.

Все эти думки и заботы вихрились в Пеллагеевой голове наряду с теми словами, которые выговаривала на ходу Дуняшке. Думы – сами по себе, слова – сами по себе.

Дуняшка, переключаясь с матерью, тоже про свое думала. Прожитая жизнь ее покороче, забот поменьше, но зато с покупкой пальто у нее связано много своих девичьих мыслей, от которых всю дорогу радостно голубеют глаза и румяно горят щеки.

Взойдя на самую верхушку косогора, где дорога опять встретила с телефонными столбами, взбежавшими на гору напрямик по самой крутизне, Пелагея остановилась глотнуть воздуха. Обе оглянулись и, отдыхая, смотрели на деревню. Она все еще виднелась серой полоской соломенных крыш среди черной зяби и просторных полос подросшей озими. Деревня казалась совсем маленькой меж необозримого уймища земли, вздыбленной холмами, и еще большего неба, серо клубящегося осенними тучами.

Пелагея, пробежав глазами по ряду похожих одна на другую хат, безошибочно нашла свою и, озабочась, проговорила:

– Наказала Степке сходить в селпо за керосином. Забегается – не сходит...

А Дуняшка нашла длинный белый брусочек своей птицефермы на отшибе деревни, подумала: догадается ли дед Алексей перетянуть под навес привезенную рыбную муку, вспомнила о пропавшей вчера любимой курице Моте, которую она умела отличать среди сотен других таких же белых. Мотя была нерасторопная и копуша, но несла крупные яйца. Потом Дуняшка тоже, как и Пелагея, стала перебирать глазами хаты. Но искала она не свою, а другую... Вот она, под молодым, еще не облетевшим рыжим тополком. Сердце колыхнулось и пролилось теплом... Под этим тополком на лавочке прошлый раз – не дай Бог, мать узнает! – поцеловал ее Сашка. Она, внутренне полыхая от стыда и счастья, сорвалась со скамейки и побежала, угнув голову. Только ноги не слушались, а сердце так гулко колотилось под пальтишком, что не слышала, как нагнал он ее и пошел рядом...

Дуняша, забывшись, долго глядела затуманенными глазами на рыжий тополек, пока Пелагея не позвала:

– Пойдем, девка! Чтой-то ты?

А выйдя на ровное и разойдясь малость, спросила:

– Третьего дня ктой-то под нами стоял?

– Ты про кого, мать? – как могла простовато, спросила Дуняшка, а сама так и пыхнула, благо что пыхать-то уж больше некуда было.

– Ну, не дури, – осерчала Пелагея. – Небось не глухая. Голос вроде знакомый, а признать не признала.

– Сашка стоял, – уклончиво сказала Дуняшка. – Так, мимо шел.

– Это чей же? Акимихин, что ли?

– Тетки Фроси... Что хата под тополем.

– А-а! Ну, ну!... Отслужился, стало быть?

– В Германии служил.

– Что же, привез что-нибудь?

– Не знаю, не спрашивала. Мне-то что!

– Должен привезти, – решила Пелагея.

Обежали большую лужу, налитую дождями, в которой утонули обе тропочки, проторенные рядом: Пелагея – справа, Дуняшка – слева. А когда опять сошлись, Пелагея спросила:

– С матерью будет жить аль в город подастся?

– Не знаю я.

– А ты б спросила.

– Не спрашивала я.

– Как же об этом не спросить-то? – удивилась Пелагея.

– Он мне про Германию рассказывал. Интересно так! А про это разговору не было.

– Гляди-ка! – хлопнула себя Пелагея по переднику. – Да об этом вперворядь спрашивать надо. А так – что толку провожаться?

Дуняшка заморгала глазами, отвернувшись, глядя на голые придорожные кусты.

– Ну, ну! – примирительно сказала Пелагея. – А только, если опять придет, попытай. Тут ничего зазорного нету.

– Не буду я спрашивать, – сердито мотнула головой Дуняшка.

– Не будешь, так я сама разужнаю, – решительно сказала Пелагея, ловко перепрыгивая через канаву.

– Стыд-то какой! И не смей! И не думай даже!

– Дура и есть дура.

– Пусть! А только не смей! Нужен он мне больно!

– У калитки стоишь – стало быть, нужен.

– Много я настояла! – дернула плечами Дуняшка и побежала вперед, норовя обогнать Пелагею, идти одной. – Только и знаю: на ферму и домой.

– Я аль запрещаю? Парень он тихий. На тракториста учился. Стой. А только стоять с умом надо. Девичье дело такое... Вот купим пальто...

Но Пелагея не договорила, потому что и сама не знала, что должно быть, когда купят они пальто.

На шоссе вышли как раз к самому автобусу, часа полтора ехали, разлученные теснотой, терпеливо вынося давку и тряску, и наконец вывалились на автостанции. Пелагея – без одной пары жестяных молоточков в петлице, Дуняшка – со взбившимся на затылок вязаным платком и такая, будто побанилась с березовым веником. Она тут же стала озираться по сторонам, дивясь пестрой городской сутолоке, а Пелагея сразу сунула руку за пазуху Степкиного пиджака и царапнула кофту под грудью: «Целы? Целы... Ох!»

Они вышли на главную улицу, и город захватил их своим хлестким людским водоворотом.

Мимо Дуняшки шли кепки и косынки, шинели и спецовки, шарфы и шарфики. Проходившие очки удивленно и близоруко косились на Пелагеин передник. Вертялые береты больше поглядывали на Дуняшку. Она даже слышала, как один берет сказал другому: «Гляди, какая вишенка! Блеск! Натуральный напиток!» И она деревенела от робости и смущения. Проходили всякие шляпы – угрюмо надвинутые и лихо заломленные. И всякие шляпки. Дуняшка дивилась цветочным горшочкам и горшочкам для гречневой каши, мелким тарелочкам и эмалированным мисочкам и просто ни на что не похожим. Шныряли авоськи с картошкой и хлебом, плавно покачивались сетки с мандаринами, робко шаркали матерчатые боты, подпираемые костыликом. А над всем этим людским потоком каменными отвесными берегами высились дома.

Дуняшка редко бывала в городе, и каждый раз он открывался по-новому. Когда приезжала с матерью еще маленькой девочкой, ее так поразили вороха конфет, пряников и множество всяких кукол, что ничего другого она не запомнила, и потом в деревне долго еще снился пряничный город, в котором жили веселые, красивые куклы. Постарше она читала вывески, заглядывалась на милиционера, как он размахивает полосатой палкой и поворачивается туда-

сюда, и, пока Пелагея стояла за чем-нибудь в очереди, глядела на кассовую машину, выбивавшую чеки.

Но теперь больше всего ее занимали люди.

«Сколько их, и все разные!» – дивилась Дуняшка, проталкиваясь за матерью. Мимо прошли тысячи, а схожих нет! И не то чтобы лицом, одеждой или годами. А чем-то еще таким, чего Дуняшка понять не могла, но смутно чувствовала эту несхожесть. У них в деревне люди как-то ровные – и лицом, и одеждой, и жизнью.

По пути Пелагея и Дуняшка заходили в магазины, приглядывались к одежде, но примерять не брали. Пелагея говорила:

– Пойдем в главном посмотрим.

Ей казалось, что самое лучшее пальто должно быть в универмаге. Но идти прямо туда ей не хотелось. Нельзя же так: прибежал, отвалил деньги – и до свидания! Кто так покупает? Пелагее было лестно, как продавщицы – красивые, белолицые – снимали с вешалки одно, другое пальто, выбрасывали перед ней на прилавок, а она хотя и знала, что покупать пока не будет, да и по цене подходящего не находилось, но деловито тормозила пальто, щупала верх, дула на воротник, разглядывала подкладку. А тем временем Дуняшка застаивалась в галантерее.

Бог ты мой, сколько тут всего! Чулки простые, чулки в резиночку, чулки тоненькие, в паутинку, как у ихней учительницы. Мониста! Голубые, в круглую бусинку, красной рябинкой, зеленым прозрачным крыжовником, и рубчатые, и граненные, и в одну нитку, и в целый пучок... А брошки! А сережки! Блузки какие! Гребенки и вовсе небывалые! Глядела на все это Дуняшка, и даже продавцы замечали, как разбегались глаза от красоты невиданной, как сами собой раскрывались пухлые Дуняшкины губы от восхищения. Подходила Пелагея не торопясь, разглядывала все это богатство, полная внутренней гордости, что если захочет, то все может купить.

Смотрели на Дуняшку продавцы, ждали, чего пожелает она, на чем остановит выбор. А Дуняшка торопливо шептала Пелагее:

– Глянь, какие сережки! Не дорого, а как золотые! – и моляще дергала мать за рукав.

– Пошли, пошли! Некогда тут! – озабоченно говорила Пелагея.

А Дуняшка:

– Мама, хоть гребенку!

Но Пелагея направлялась к выходу и лишь за порогом, чтоб не слышали люди, гусиным шепотом выговаривала:

– Гребенку купим, а на пальто не хватит. Понимать надо!

До универмага они добрались лишь после обеда. Правда, сами они еще ничего не ели: и некогда было, и не хотелось. У входа в магазин люд вертелся, как вода в мельничном омуте. Здесь засасывало, кружило и выбрасывало сразу десятки людей. Из дверей универмага доносился глухой непрерывный гул, будто там тяжело вращались жернова.

Пелагея и Дуняшка протолкались внутрь, наспех обежали первый этаж, но там продавалось не то, что нужно, и они пошли выше. На лестничной площадке, между первым и вторым этажами, они увидели себя в огромном зеркале, вделанном в стену. Зеркало молчаливо подсказывало каждому проходящему мимо, что именно надо ему заменить или чего не хватает в одежде.

Пелагея поднималась по лестнице, высоко подбивая коленями свой оборчатый фартук. Она отчужденно взглянула на себя и вдруг проговорила:

– Батюшки, молотки-то я потеряла! Теперь убьет малый...

Одной ступенькой ниже поднималась Дуняшка. Она глядела в зеркало во все глаза, потому что видела себя вот так, всю сразу, первый раз в жизни. В своем вязаном платке, делавшем ее голову круглой и обыкновенной, в куцем, узкоплечем сереньком пальтишке, из-под которого торчали длинные, крепкие ноги в хромовых забрызганных сапогах, Дуняшка похо-

дила на молодую серенькую курочку, у которой еще как следует не прорезался нарядный гребешок, не округлился зобик, не поднялся кверху хвостик, зато уже отросли сильные, выносливые ноги. Но щеки ее по-прежнему неутомимо пылали, и зеркало шепнуло: «Разве можно в таком пальто ходить под рыжий тополек?»

В отделе верхней женской одежды было не очень много народу, за прилавком в огромном длинном салоне в благоговейной тишине и терпком запахе мехов и нафталина висели пальто и шубы. Они помещались длинными рядами, как коровы в стойлах на образцовой совхозной ферме, – рукав к рукаву, масть к масти, порода к породе. На каждом из них висели картонные бирки. Между рядами в торжественном почтении, разговаривая вполголоса, ходили покупатели, брали в ладони бирки, приценивались.

– Вам для девочки? – посмотрев внимательно на Дуняшку, спросила полная пожилая продавщица в очках и халате, похожая на ветврача из соседнего совхозного отделения. – Пожалуйста, пройдите. Сорок шестые направо.

Пелагея, а за ней Дуняшка несмело вошли за обитый красным плюшем барьер и начали осмотр с края. Но Дуняшка шепнула: «Черное не хочу», – и они прошли к бежевым. Бежевые были хороши. Большие роговые пуговицы. Мягкий коричневый воротник. Кремовая шелковая подкладка. Пелагея смяла в кулаке угол полы – не мнется.

– Дуня, ну-ка прочитай.

– Тысяча двести.

– Так-так, – сдвинула брови Пелагея. – Маркое дюже. Вон у агрономши. Ехала в машине – запятнала. А теперь хоть брось.

– Мама, смотри, вон темно-синие! – зашептала Дуняшка.

– Ничего сукнецо! – одобрила Пелагея.

– Воротник красивый! Просто пух! – шепнула Дуняшка.

– А цена? Ты цену прочитай.

– Тысяча девятьсот шестьдесят.

– Это небось год указан?

– Да нет... рубли.

– А-а... рубли... Уж больно дорого что-то. Пальто – так себе. И воротник небось собачий.

Ни лиса, ни кот.

Дальше висели светло-серые. Они были почему-то без воротников, но зато с опушкой на рукавах. Пелагея недоверчиво покосилась на бирку, но просить Дуняшку прочитать не решилась. За серыми пошли шубы.

– Небось тоже дорогие, – сказала Пелагея, – тыщи на полторы, не меньше.

– Ну, подобрали что-нибудь? – спросила продавщица.

– Да что-то не нравятся, – озабоченно сказала Пелагея. – То маркие больно, то крою не нашенского.

Продавщица, бросив едва заметный взгляд на Пелагеин передник, спросила:

– Вы на какую цену хотели бы?

Пелагея задумалась.

– Да вот и сама не знаю, – сказала она. – Брать дорогое рискованно. Дочка еще будет расти. Пока б рублей за семьсот. А то можно и подешевле.

– Конечно, конечно, – понимающе закивала очками продавщица. – Девочка еще в росте.

– Вы уж, пожалуйста, постарайтесь.

– Есть у нас для нее великолепное пальто! – сказала продавщица. – Недорогое, но очень даже приличное. Пойдемте. Мы ее сейчас так разодем.

Продавщица прошла в самый конец ряда и, покопавшись, подала:

– Вот, пожалуйста.

Пальто и верно было хорошее. Коричневое в елочку. Воротник черный. Вата настега не внатруску, а как следует. Теплое пальто! Пелагея дунула на воротник – мех заколыхался, провела по шерсти – прилег мех, заблестел вороновым крылом.

– Драп, воротничок под котик, – пояснила продавщица, поворачивая пальто на пальце. – Пожалуйста, подкладочка из шелковой саржи. Чистенько. Тебе нравится? – спросила она Дуняшку.

Дуняшка застенчиво улыбнулась.

– Ну вот и отличненько! – тоже улыбнулась продавщица. – Давайте примерим. Вот зеркало.



С радостным трепетом надевала Дуняшка пальто. От него пахло новой материей и мехом. Даже сквозь платье Дуняшка ощущала, какой гладкой была подкладка. Она была прохладной только сначала, но потом сразу же охватило тело уютным теплом. Вокруг шеи пушисто, ласково лег воротник. Дрожащими пальцами Дуняшка застегивала тугие пуговицы, и Пелагея, озабоченно раскрасневшаяся, кинулась ей помогать. Как только пуговицы были застегнуты, Дуняшка сразу почувствовала себя подтянутой и стройной. Грудь не давило, как в старом пальто, а на бедрах и в талии она ощутила ту самую ладность хорошо сидящей одежды, когда и не тесно и не свободно, а как раз в самую пору.

Посмотреть на примерку пришли почти все бывшие за барьером покупатели. Какой-то старичок с белой, будто выстиранной бородкой, летчик с женой. Дама в черном пальто и черномычатой лисице с мужчиной очень приличного вида в красном шарфике тоже подошла к примерочной.

Дуняшка посмотрела в зеркало и обомлела. Она и не она! Сразу повзрослела, выладнялась, округлилась, где положено. Она увидела свои собственные глаза, сиявшие счастливой голубизной, и впервые почувствовала себя взрослой!

– Прямо невеста! – сказал старичок.

– Вам очень к лицу, – заметила жена летчика. – Берите, не сомневайтесь.

– Ну что за прелесть девчонка! – улыбнулась дама в лисе. – Что значит одеть как следует человека! Недаром же говорят: «По одежде встречают...» Разреши, милая, я заправлю твою косичку. Вот так! Чудо, а не пальто.

– Выписывать? – наконец спросила продавщица и достала из кармана чековую книжку.

– Раз люди хвалят, то возьмем, – сказала Пелагея. – Восемнадцать годков дочке-то. Как не взять.

– Пожалуйста: шестьсот девяносто три рубля двадцать одна копейка. Касса рядом.

Пелагея побежала платить, а Дуняшка, неохотно расставшись с новым пальто, натянула на себя старенькое и повязала платок.

– Счастливая пора у этой девочки, – вздохнула дама. – Первое пальто, первые туфельки... Все впервые...

Продавщица ловко завернула покупку в бумагу, несколькими взмахами руки обмотала бечевкой и, щелкнув ножницами, подала Дуняшке.

– Носи на здоровье.

– Спасибо, – тихо поблагодарила Дуняшка.

– Спасибо вам, люди добрые, за совет и помощь, – сказала Пелагея. – Тебе, дочка, спасибо на ласковом слове, – сказала она даме.

– Ну что вы! – улыбнулась дама. – Приятно было посмотреть на вашу девочку. Ты в каком классе?

– На ферме я, – проговорила Дуняшка застенчиво и уставилась на свои большие красные руки, державшие покупку.

– Она у нас птичницей в колхозе работает, – пояснила Пелагея. – Триста ден выработала. На ее деньги пальто и справили.

– Ну, это совсем мило! – сказала дама и очарованно еще раз посмотрела на Дуняшку.

Сразу уходить из магазина не хотелось. Пелагея и Дуняшка еще не остыли от возбуждения и долго толкались по разным отделам. После покупки пальто, которое Дуняшка носила под мышкой, все время поглядывая на него, хотелось еще чего-нибудь. И они, разглядывая товары, говорили, что хорошо бы к такому пальто прикупить еще и боты. «Вон те, с опушкой». – «Говорят, они неноские». – «Как же неноские? Катька Аболдуева третью зиму носит». – «Ладно, купим. Такие у нас в сельпо есть». – «Мама, глянь, какие шляпы!» – «Ты что, спятила? Будешь ты ее носить!» – «Да я так просто». – «Тебе б платок теперь пуховый».

Так обошли они весь этаж и опять, проходя мимо отдела верхней одежды, остановились взглянуть на прощание на висевшие пальто.

За барьером они увидели даму, примерявшую шубу. Мужчина в красном шарфике стоял рядом. Он держал ее пальто.

Шуба была из каких-то мелких шкурок с темно-бурыми спинками и рыжими краями, отчего она выглядела полосатой. Продавщица, развернув шубу, набросила ее на даму, и та сразу потонула с головы до пят в горé рыжего легкого меха. Были видны только гребень взбитых на макушке волос цвета крепкого чая да снизу, из-под края шубы, – щиколотки ног и черные туфельки.

– Широкая дюже, – шепотом заметила Пелагея. – Совсем человека не видно.

Дуняшке шуба тоже показалась очень просторной и длинной. Она свисала с плеч волнистыми складками, рукава были широкие, с большими отворотами, а воротник разлегался от плеча до плеча. Может быть, так казалось после черного пальто, которое очень ладно сидело на даме?

Пальто это было очень хорошее, совсем новое – и материал, и лисий воротничок. Его еще можно носить и носить, и если бы у Дуняшки было такое, она не стала бы брать шубу, а купила бы пуховый платок и боты.

Дуняшке хотелось сказать об этом даме, хотелось проявить участие, посоветовать что-нибудь, как советовали только что во время примерки ей самой. Но, конечно, она ни за что не решилась бы. Это она только так, про себя. Она не знала, какие надо говорить слова, и вообще робела перед этой хотя и приветливой, но все же в чем-то недоступной женщиной.

Дама передернула плечами, отчего шуба заходила на спине широкими складками, и посмотрела на себя в зеркало. Дуняшка увидела ее красивое, в этот момент слегка побледневшее лицо, охваченное широким рыжим воротником. Живые светло-коричневые глаза смотрели внимательно и строго, а подкрашенные губы чуть улыбались.

– Филипп, тебе нравится? – спросила дама, проводя выгнутой ладонью по щеке и волосам.

– В общем, ничего, – сказал мужчина. – Пожалуй, даже лучше той...

– Как сзади?

– Три складочки. Как раз то, что ты любишь.

– Может быть, не будем брать? Мне не очень нравится воротник.

– Отчего же? Шуба тебе к лицу. А воротник – пригласи Бориса Абрамовича. Переделает.

– Мне его что-то не хочется. Марина Михайловна говорила, что он ей испортил шубу. Я позвоню Покровской – у нее хороший скорняк.

Дама еще раз взглянула на себя в зеркало.

– Хорошо, я беру, – сказала она. – Если что – Элка сносит.

– Разрешите выписать? – учтиво спросила продавщица.

– Да, да, милая...

Мужчина пошел платить. Он расстегнул портфель и положил на кассовую тарелочку два серых кирпичика сотенных, перехваченных бумажной лентой.

– Это все за одну шубу?! – ахнула Дуняшка.

Шуба была завернута в бумагу. Продавщица с серьезным лицом, на котором была написана вся торжественность момента, несколькими привычными взмахами руки обмотала пакет бечевкой и, вручая даме, так же, как и Дуняшке, пожелала:

– Носите на здоровье.

– Благодарю вас.

– Вот мы с тобой и с обновками! – улыбнулась дама, заметив Дуняшку и ласково потрепала ее по щеке.

В ее руках был совсем такой же пакет, как и Дуняшкин, почти такого же размера, в той же белой бумаге с красными треугольниками, так же перехваченный крест-накрест бечевкой. Положить рядом – не различишь.

Мужчина взял у нее пакет, и они вышли.

На улице сыпал мелкий дождик. Асфальт блестел. Дуняшка и Пелагея видели, как дама и мужчина сели в мокрую блестяще-черную машину и поехали. В заднем окошечке мелькнула лисья мордочка воротника с красной пастью.

– Хорошие люди, – сказала Пелагея. – Обходительные.

Дуняшка посмотрела на свой пакет. Дождь дробно барабанил по обертке, и бумага покрылась пятнами. Дуняшка расстегнула пальто, спрятала покупку под полу.

– Мама, есть хочется, – сказала она.

На сдачу от пальто они купили у лоточницы по булке и по мороженому, остальную мелочь спрятали на дорогу. Зашли за газетную будку и стали есть. Они ели жадно и молча, потому что проголодались, и еще потому, что было неловко есть на людях. А мимо все шли и шли поднятые воротники и шляпы, кепки и спецовки, очки и береты, цокали туфельки и шаркали матерчатые боты. Время от времени проходили раздутые портфели, и Дуняшке казалось, что они набиты сотенными. Иногда проплывали лисы, уютно пристроившиеся под зонтиками. На них не капало.

– Ну, пошли, что ли? – сказала Пелагея, отряхивая с пиджака крошки. – Не знаю, купил ли Степка керосину...

С автобуса они сошли еще засветло. Дождь перестал, но большак осклиз и тускло поблескивал среди черной, тяжело осевшей влажной земли. Пелагея подоткнула под пиджак фартук и, разъезжаясь сапогами по убитой тропинке, зашагала впереди Дуняшки. Теперь она спешила домой, потому что надо еще успеть постирать Степкино белье. Завтра рано ему ехать в школу механизации. Дуняшка бежала следом. Ей тоже хотелось поскорее домой.

Уже перед самым косогором вдруг проглянуло солнце. Оно ударило пучком лучей в узкую прореху между землей и небом, и большак засверкал бесчисленными лужами и залитыми колеями.

Выйдя на самую кручу, они остановились передохнуть. После дождя потишило и потеплело. Город притомил Дуняшку своей сутолокой, а здесь, в поле, было тихо, хорошо и так все привычно. Возле подсолнуха, одиноко торчавшего у дороги, стоял теленок. Он обдергивал влажные, обмякшие листья и неторопливо жевал их, пересовывая языком черенок. Перестав есть и растопырив уши, он задумчиво уставился на Пелагею и Дуняшку. Недоеденный черенок торчал из его влажных розоватых губ.

– Скоро придем, – сказала Пелагея. – Ну-ка, дай сюда...

Она взяла у Дуняшки сверток и проткнула пальцем бумагу. В прорыв проглянула подкладка. Она была цвета молочной печенки и шелково переливалась на свету.

– Хорошая подкладка! – одобрила Пелагея. – Ну-ка, погляди.

– Хоть на платье! – сказала Дуняшка. – Мама, а верх какой? Я забыла...

Поковыряли бумагу в другом месте, добрались до верха.

– И верх хороший! – еще раз убедилась Дуняшка.

– Ну, верху – сносу нет! Говори, что тыщу отдали.

– За тыщу и хуже бывает. Помнишь, то висело, бежевое?

– И глядеть не на что!

– Мама, давай воротник посмотрим. Еще воротник не рассмотрели.

Воротник был мягок и черен, как вороново крыло. Замечательный воротник!

– Как она сказала – какой воротник?

– Под котик.

– А-а... Ишь ты! Дорогой небось.

– Мама, и теплое!

– Теплое, дочка. – Пелагея прикинула сверток на руке. – Насчет теплоты и говорить нечего. А что шуба? Одно только название. Ни греву, ни красы. Как зипун. Была б она целая. А то из латок. Того и гляди, лопнет на швах. Да и вытрется. А уж это – красота! И к лицу. И сидит ладно.

– Я в нем как взрослая, – застенчиво улыбнулась Дуняшка.

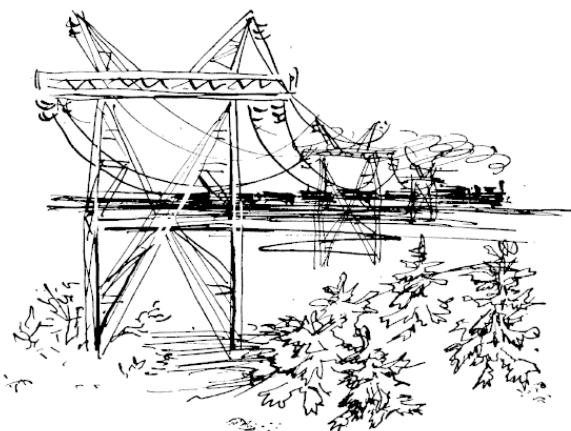
– Молчи, девонька, продадим теленка – платок пуховый справим.

– И ботики! – вся засветилась Дуняшка.

– Справим и боты! Справим!

Под горку бежалось легко. Чтоб сократить дорогу, пошли напрямки по травянистому склону. Впереди, выхваченная солнцем из темной пашни, белела хатами деревня. Дуняшка, млея от тихой тайной радости, отыскивала глазами рыжий тополек.

Шуруп



Через апрельские поля и перелески, тронутые первой внешней зеленью, напрямик к горизонту уходили опорные мачты высоковольтки.

Рядом, постепенно забирая вправо, проселочной дорогой шагал Шуруп – конопатый, курносый парнишка, каких пачками выпускают ремесленные училища и всевозможные школы ФЗО. Зимний форменный бушлат нараспашку, в руке старенькая шапка-ушанка, подбитая загадочным сизо-голубым зверем. На ногах Шурупа обыкновенные рабочие ботинки с железными заклепками по бокам. В таких чечетку выколачивать, конечно, трудновато, но топтать по ненакатанному проселку даже очень ловко, особенно если хорошенько расшататься.

Шуруп нес шапку-ушанку за одно ухо, как носят мальчишки подстреленную ворону, и шлепал ею по штанине при каждом шаге. Белобрысый чуб его уже давно обсох на ветерке и теперь топорщился на голове без всякого порядка.

Денек с самого утра солнечный, веселый. Час от часу наливаются зеленью еще вчера бурые луговины и обочины, дрожит светлый парок над черной, распаханной землей, а по всему небу – то где-то под белыми мазками облаков, то совсем близко, над самым ухом, – звенят, заливаются жаворонки, а глянешь вверх – тут же зажмуришься от безудержного потока лучей и не увидишь никакого жаворонка, будто это не они поют, а сам небосвод звенит от весеннего тепла и света.

Идет Шуруп, помахивает шапкой, поддает ботинком все, что можно нафутболить, – сухой ком земли или старую консервную банку, останавливается на мостках через речушки, смотрит, как малявки гоняются за плевком, хорошее настроение у Шурупа!

За неделю до майских праздников их бригада высоковольтников закончила тянуть линию на своем участке, и Фролов, начальник участка, отпустил Шурупа домой на целых пять суток. «Вот тебе, – говорит, – два дня майских, один выходной и два дня от меня лично. За то, что в дело вникаешь».

Правда, Шуруп числится в бригаде даже и не монтажником, а всего только стажером. Но это по приказу, а если так, то никакой разницы нет. Дождь или там завируха какая, разрядов не признает – чихвостит всех без разбору. Да и спали в одном вагончике, и ели из одного котла. Какой может быть разговор? А если показать руки, так у Шурупа они что ни на есть рабочие: не с водянками, какие бывают у школьников от первой грядки, а с настоящими мозолями, обтянутыми желтой, зароговевшей кожей, такой твердой, что даже ногтем не уколупнешь. Сожмет Шуруп пальцы, и сразу внутри кулака чувствуется эта мозолистая жесткость, от которой рука тяжела, будто железная, и молоток в ней сидит как влитой.

«А все-таки здорово получилось! – думал Шуруп, хозяйственно посматривая на высоковольтку. – Даже красиво!»

Всю дорогу Шуруп ощущал, как в грудь ему упирался бумажный комок – пачка свернутых пополам трешек, вложенная в боковой карман бушлата. Это его первая получка за полтора месяца работы на линии. Шуруп вгорячах даже и не посчитал, сколько там. Удержали подходящий, какие-то там холостяцкие, за харчи вычли (продукты привозят прямо на линию), пятерку одолжил лебедчику Ваньке Шелябову, и все равно осталась целая куча. По молодости Шуруп еще не умел вести хозяйственный счет деньгам, и потому ему не важно, сколько лежало этих самых трешек в кармане. Куда было важнее сознавать, что они наконец есть и что он заработал их собственными руками.

«Надо купить матери подарок к празднику, – размышлял Шуруп. – Приеду в город – сразу домой не пойду, а сперва схожу по магазинам. Чтоб домой прямо с подарком. Только что купить? Конфет коробку? Каких-нибудь подороже. Чтоб лентой были перевязаны. Да разве она съест сама? Возьмет штучку-две, а остальные отдаст Витьке. А тому только подавай: в один раз все съест, как картошку, а коробку ножницами изрежет. Может быть, сумочку? Та, черная, совсем износилась, уже два раза чинили замок. Или платье?.. Красивое, цветами. Вот будет рада!» Шурупу было приятно мысленно одевать мать во все новое: он представил, как мать, волнуясь, розовея лицом, будет примерять подарки перед зеркалом, и от этих мысленных картин проникался к самому себе чувством честно заслуженного уважения. «Носи, мать, на здоровье, – скажет он. – Заработаю еще – лучше куплю».

На вокзал Шуруп пришел задолго до поезда. Старая Засека оказалась пустяковой, неказистой станцией: несколько товарных вагонов в тупике, два или три приземистых склада с крышами, заляпанными смолой, какие-то бревна под откосом. Но поезд здесь почему-то останавливался. Стоял недолго, не более двух минут, казалось, только затем, чтобы перед крутым изволоком дать паровозу глотнуть свежего воздуха в его прокуренные легкие.

Шуруп купил билет, прочитал расписание и всякие плакаты, с интересом потолкался в буфете, прицеляясь к разной еде, разложенной на тарелках. Выбрал бутерброд с темными, сухими пятаками колбасы, прогнутыми, как медные биты, потом, подумав, попросил нацедить кружку пива, – все-таки с получки!

Сразу за Старой Засекой – жидкий дубовый лесок. До поезда было минут сорок. Посидев на солнышке на перроне, Шуруп побрел к лесу. Рощица стояла высокая и светлая, в крепком настое талой земли и ясной солнечной тишины. Звонко, ошалев от тепла и света, от сини неба и собственного бытия, цвикала синица-кузя. Шуруп походил по кучерявым дубовым листьям, хитрым свистом через оттопыренную губу подразнил кузю, ножом ковырнул у комля молодую березку и, прислонившись к стволу, терпеливо дожидался набегавшую капельку в подрезе, чтобы слизнуть ее языком. Потом глянул себе под ноги и радостно удивился: вся поляна была усыпана подснежниками – голубые блески на буром ковре прошлогодних листьев.

Ползая на коленях, Шуруп вдруг услышал паровозный гудок: пассажирский поезд подходил к Старой Засеке. Уже на бегу к вокзалу Шуруп сообразил, что не успеет, и, круто повернув, побежал к выходной стрелке. Едва он скатился по откосу глубокой выемки, как мимо поплыли длинные зеленые вагоны.

Шуруп побежал вдоль состава. Тяжелые рабочие башмаки грузно увязали в ракушечнике. Правой рукой он успел ухватиться за поручень последнего, двенадцатого, вагона, из открытой двери которого ему что-то кричала проводница. Он изо всех сил побежал рядом с подножкой, не зная, что ему делать с подснежниками, которые мешали ему вцепиться в вагон обеими руками. Проводница больно колотила по руке свернутыми флажками, но Шуруп не выпустил поручня. Он бросил букетик в дверь, подпрыгнул и, согнувшись баранкой, повис на подножке. Рука проводницы вцепилась в воротник Шурупова бушлата, и он на четвереньках влетел в тамбур.

– Куда тебя, окаянного, несет? – Проводница в сердцах дала Шурупу подзатыльник.

Шуруп стал на ноги. Испарина мелкими бусинками осыпала редкий пушок на его верхней губе. Он снял шапку и вытер ею лицо. Из шапки шибануло распаренными волосами.

– Аж сердце захолонуло... – перевела дух проводница, толстая пожилая тетка, с трудом обтянутая черным казенным платьем. – Погляди: где тебя носило?

Шуруп посмотрел на ботинки. Они были облеплены вязкой лесной грязью.

– Весна! – улыбнулся Шуруп, уловив незлобивые нотки в ворчании проводницы.

– То-то – весна... С такими ногами в вагон не пущу.

– Я и тут постою.

– Погоди, веник вынесу.

Проводница ушла, и Шуруп, присев на корточки, принялся собирать цветы. Непослушными пальцами, все еще дрожавшими от гулких толчков сердца, он брал с пола нежные зеленые стебли с голубыми колокольцами и складывал в шапку.

Из двери высунулась проводница, бросила Шурупу веник.

– Руку больно нахлестала флажками?

Кисть правой руки тупо ныла, но Шуруп не сознался.

– Надо было ногой, каблуком. Сразу бы отцепился. С вами, сорваньём, иначе и нельзя. Долго ли до греха! А ну, покажи цветы-то. Я уж и забыла, какие они, подснежники.

Она запустила пухлую красную руку в Шурупову ушанку и бережно, будто новорожденного цыпленка-пуховичка, выгребла и положила на ладонь горстку подснежников.

– Ишь ты какие! Голубоглазые... Лесом пахнут! – по-девичьи обрадовалась старая проводница. – Что ж ты их в шапку-то складываешь? Пойдем, стаканчик дам.

Шуруп прошел в вагон, выбрал себе место за свободным столиком в проходе, поставил стакан с подснежниками, огляделся. После свежего лесного воздуха в вагоне было жарко, как в бане. Сквозь двойные, плохо протертые стекла в упор било неистовое апрельское солнце. Недвижно-пыльный столб света пролегал через купе, резко высвечивая многослойную корявую охру полок. В этой духоте, будто шмель, запутавшийся в паутине, зудел репродуктор поездного радио.

Шуруп снял бушлат, запихнул шапку в рукав и пристроил одежду на крючке под верхней боковой полкой, на которой, свернувшись калачиком, спал какой-то паренек в черной спецовке, наверно, тоже из ихнего брата фезеушника. За столиком у противоположного окна под тяжелый, засосный храп, долетавший с верхней полки, закусывали две женщины – старая и помоложе. Спавший мужчина лежал навзничь, натянув на голову обшитый сукном овчинный полушубок, из-под которого, свисая над проходом, торчали две босые мясистые ступни.

Старушка, сидевшая с правой стороны столика, нарезала на промасленной газете селедку, клала кусочки в рот и, погоняя языком по пустому беззубому рту, с бульканьем проглатывала, по-куриному вытягивая худую, жилистую шею. Несмотря на духоту, она сидела в теплом старомодном полусаке и только шаль сдвинула на плечи, оставив на голове белый ситцевый платочек, завязанный под остро выступавшим подбородком.

По другую сторону столика за стаканом чая, лениво дымящимся на солнце, сидела женщина в черном платке, низко и туго обтягивавшем широкий лоб. В черной раме платка четко желтело крупное неподвижное лицо, густо испещренное рябинами, которые не давали появляться ни складкам, ни морщинам, и оттого лицо казалось каменно-мертвым, будто высечено из пористого, выветренного песчаника.

Как только Шуруп устроился, старушка, поедавшая селедку, попросила его забросить на самую верхнюю полку холщовый мешок, который лежал у ее ног под столиком.

– Мне-то он, родненький, не помеха, а кому может и помешать. Непорядок, скажут.

– Чеснок, что ли? – потянул носом Шуруп, закатывая не по старухе тяжелый мешок на полку.

– Чесночек, родненький, чесночек. Кормилец наш. Кабы не чесночек – хоть по миру ступай. У нас-то он промеж других овощей не виден. А есть такие местности, где он слаще меду-сахару. Привезу – спасибо скажут.

– Уж это на кого наскочишь! – неожиданно грубым, мужским голосом проговорила ряболицая.

– И то бывает, мать Маланья, – закивала старушка. – Иной берет – нахваливает, а иной и не берет и волком смотрит. Да еще и приструнит. А того не сообразит, что я ему добро делаю. От всякого недуга чеснок – первое снадобье. Мне-то, старой, благо ли в такую даль тащиться, кабы б не об ихней же пользе радела? Иной раз так расхвораюсь, так расхвораюсь в дороге-то, что, того и гляди, Богу душу на чужой стороне отдам. Ан еду! Цветики-то небось барышне своей везешь? – спросила старушка.

– Матери, – сказал Шуруп.

– Матери? – умилилась старушка. – Ах, ласковый, ах, сердечный! Помнишь, стало быть, мать, считаешь. Да ты бы, касатик, к этим-то цветам еще и вербочки нарезал. Сегодня Вербное воскресенье.

– У нас через два дня свой праздник, – сказал Шуруп.

– Так ведь то, касатик, выдуманный. А это настоящий. Испокон веков празднуется.

– Как это выдуманный? – Шуруп снисходительно посмотрел на старушку. – К Первому маю люди план свой перевыполняют, премии им дают, гуляют целых два дня. Как это выдуманный? Ты, бабуса, что-то загнула. Это ваш выдуманный...

– Да ты не сердчай, касатик. Вам, молодым, абы погулять. Вот ты безо всякого разбору и празднуешь. Где пошумнее, туда и идешь. А что за тем праздником? Одна суета. Никакого очищения души. А Вербное воскресенье – великий праздник. Иисусу Христу нашему дорогу вербой выстилали. Вот я к тому и говорю: срезал бы вербочку и свез матери во славу-то Божию.

– Тоже выдумала! – пробасила ряболицая. – Нынче вербу разве что на метлы режут. Забыли о Боге люди. Все забыли.

– На метлу, мать Маланья! – согласно закивала старушка. – Ох и на метлу! Да и то сказать: метлу собрать не из чего. Сколько раньше вербы-то было! Бывало, подходит праздник – каждый идет ломать. И малый и старый. Столько люду в Расее, и каждому надобно. А она, верба-то, не токмо не переводится, а еще пуще растет. Потому – на святое дело потребляется. Выйдешь на выгон об эту пору, а она кипенью кипит – пуховитая, медвяная. А ноне, гляжу я, нет вербы, вся пересохла.

– Потому и пересохла, – резонила ряболицая, прихлебывая из стакана жесткими, неподвижными губами, – потому, говорю, и пересохла, что земля грехом пропитана.

– Не может, стало быть, Божья лоза в такой земле произрастать, – согласилась старушка.

– Вот дают! – усмехнулся Шуруп.

Все эти разговоры были для него очевидной нелепостью.

– Да этой вашей лозы хоть пруд пруди! – сказал он запальчиво. – Мы в Старой Засеке линию тянули, так пришлось бульдозером выкорчевывать: ступить некуда.

Но это возражение Шурупа не было принято всерьез, и он, махнув рукой, стал смотреть в окошко.

– А насчет земли это ты, мать Маланья, правду говоришь, – сказала старушка. – Возьми чеснок: никудышный пошел. Мелкий да уродливый какой-то. Прошлым летом копаю, а у одной головки кукишем зубья-то! Прямо кукиш вылитый! Не иначе, как с землей неладное что-то делается.

– Намедни Григорию моему сон привиделся, – заговорила с осанистой медлительностью ряболицая. – Будто среди лета в одну ночь повсюду вода замерзла: и в реках, и в озерах, и в морях – до самого дна. И нигде не осталось ни единой капли, окромя святых источников.

– Прости, Господи, нас, грешных! – истово закрестилась старушка. – Все может стать, мать Маланья. Все может, коли веру утратили.

– А я тебе скажу, что так оно и будет. Кинется люд к святой воде, да только та вода не про всякого.

– Не про всякого! – подхватила старушка.

– Кому она святая будет, а кому и камнем обернется. А этому быть – не миновать, – опустила глаза ряболицая. – Григорию моему просто так не привидится. Он через свою непорочность к самому Господу доступ имеет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.